

**ПРОФИЛЬ
В
СКЛЕЕННОМ
ЗЕРКАЛЕ**

без определения жанра

1991

**Р.П., не заслужившему посвящения,
посвящается.**

**Я – везде чужой,
И потому – свободен.**

ПО ЭТУ СТОРОНУ РЕКИ

«Часы остановились, и точного времени он не знал».

/К. Абэ «Женщина в песках»/

Город стоял на левом берегу реки.

На первый взгляд, в нем ничего не изменилось. Неторопливая суэта по-прежнему текла по мощенным гладко выбритым бульжником улицам, по бескровным артериям, между невысокими серыми домами, мимо стройного, с белыми колоннами, собора. Город не постарел за последние двадцать пять лет, а остался таким же старым. Вскружившая головы прибыль ядерного оплодотворения его не коснулась, и лишь выцветшее кладбище в стороне от небольшой площади – наспех заасфальтированного пустыря – напоминало о том, что здесь, как и везде, люди умирали.

Густав пересек площадь и медленно шел по Степной улице, которая окольным путем вела к реке. С юга низко летели птицы. Маленькие, черные, взъерошенные: в них было что-то от чудовищных бабочек, возмущая раннее утро, они спешили к своим гнездам на окраине города. Неожиданно тротуар кончился, и улица раздалась ширирь, сбегая все круче под уклон, деревья встречались все реже и вдруг за резким поворотом исчезли совсем. Впереди, между восходящим солнцем и высохшим болотом, показалась река. Глубоко вздохнув, Густав закурил, остановился, бросил спичку в канаву и, как бы спохватившись, продолжил путь, с удивлением прислушиваясь к шарканью своих каблучков. «Трава, – подумалось ему, – не такая уж зеленая, хотя сезон дождей уже закончился: видимо, тут была засуха, и даже обильная для здешних мест роса не смогла напоить землю». Густав улыбнулся собственной наивной мысли, застав себя врасплох; и все-таки он снимет туфли и пойдет босиком, босиком по забытой дороге, по кривым тропинкам своей памяти, чтобы хоть как-то восстановить утерянную связь в цепи легких ссадин, случайных царапин и обидных ран. В поезде немного укачало, а в ушах еще навязчиво бурлил джазовый свинг железных колес. Однако постепенно его поглощала тишина, изредка нарушаемая всхлипыванием приближавшейся воды. Солнце поднималось, как по пожарной лестнице, все выше и заливало пространство расплавленным стеклом. Из-за лезвия горизонта появилась маленькая туча. Город сместился влево.

Глаза видели и не верили. Та же трава, вода, заглаженная пыль, такие же крупные рыжие муравьи, будто они с тех пор, не переставая, продолжали отчаянно копошиться у своих почти человеческих норок. Тот же повисший в воздухе затхлый запах большой реки. Густав «уронил» чемодан на землю – это, пожалуй, все, что осталось от его прежнего существования: чемодан плюс память – а сам сел рядом,

лицом к реке, чтобы был хорошо виден противоположный берег. Разве мог он еще вчера предположить, что удастся все бросить, поставить крест на настоящем и вернуться домой, в прошлое? Правда, ответить на вопрос, здесь ли его дом, он не мог, да и не пытался. Но он приехал сюда с билетом в один конец, навсегда, и это спонтанное решение было окончательным. В свои сорок два года он вдохнет мир когда-то и опять родного города, его мясо-молочный аромат с провинциальной примесью гари.

Река была без движения. Она спокойно, безразлично смотрела на Густава. Прошедшие годы боязливо прятались от этого взгляда в извилистых морщинах лица, шеи, уползая под клетчатый воротник отглаженной синей рубахи. Посмотри внимательнее! Это же он, твой Густав. Неужели его не прощаешь? Не принимаешь, не узнаешь? Ведь все было совсем недавно, у этих же поросших чернильно-бурым мхом бревнах, с этим же песком и глиной на зубах после приступов детских буйств – на этом тихом «островке», где никогда не остывало кипение невинных грез – напротив него, того далекого-далекого берега. Теперь Густав снова здесь, с тобой. И никуда больше не уедет. Его вернуло время. Или он вернулся сам? Посмотри внимательнее... Но не суди строго... Обрывок мокрой газеты прибил у самых ног.

Густав достал из кармана вчетверо сложенный конверт и посмотрел на штемпель. Всякий раз, когда приходила почта, стоило лишь взглянуть на марку, как сразу возникали мысли о возвращении. Аккуратно выведенные некрасивым, вернее, неумелым почерком полуграмотные слова проявляли отснятую много лет назад пленку, заставляя колебаться, забывать об отвоеванной с таким трудом свободе. Но это была сиюминутная слабость, не более. И все же эти письма радовали. Главным было то, что они приходили, письма сами по себе, просто письма, без содержания. Ровно двадцать три года и две недели. Это было последним. С тех пор у него не было ни малейшего представления о том, что случилось с родным домом, и только неожиданное письмо от какой-то дальней родственницы подтвердило его жуткую догадку: дом был пуст.

Южный ветер щедро ласкал соскучившееся по теплу тело, боясь близко подпустить холод, оставшийся за сотни километров позади. Там еще лежал снег и скользил под ногами лед, а здесь зима задерживаться не любила. Она изредка вырисовывала узоры своего временного присутствия на стеклах домов, но и в морозные дни упрямое солнце не выносило этих художеств. В середине февраля небольшие сугробы таяли, появлялись лужи. Мокро, грязно. В первых числах марта приходила весна, наполненная лучами днем, с пронизывающей прохладой ночью, высушивала весь город, грязь постепенно превращалась в пыль, все вокруг становилось пыльно-зеленым, и тогда начинались дожди, весенние ливни, грозы.

Едва Густав успел закрыть за собой входную дверь, как крупный дождь беспорядочно забарабанил в окно...

Эхо глухих ударов отдается в большой холодной комнате, раскаленной от холода. В бездушной, лишенной света, затемненной громоздкой мебели. Мебель превращает комнату в заваленный, закрытый от людей подпол. Тяжелые черные предметы, задыхаясь, с ненавистью смотрят друг на друга: старинный шкаф угрожает дивану, диван презрительно бросает вызов потерявшему в жестоком неравном сражении ногу стулу; оставленное на произвол кресло ни на что не претендует, подвешенная на длинном шнуре слепая лампа – рефери. Непрístupный Карфаген из вечного, отливающего чернотой дерева. Обесиленные оловянные легионеры во власти любвеобильных фарфоровых пленниц, так и не познавшая в этом доме щедрости инкрустированная восточная ваза, спрятавшиеся под плотной маской пыли пол-арбуза и виноград «Деревенского натюрморта». У занавешенного тяжелой темной занавесью окна – черный квадратный стол, на нем разбросаны письма, среди множества и его. Густав их писал двадцать пять лет назад: пожелтевшие листки ученической бумаги, пожелтевшие фотографии, пожелтевшие клочья жизни, когда-то в них бился пульс, сейчас они мертвы. Рядом – пузырек с недопитыми сердечными каплями, сломанные в злости вязальные спицы, маленькое зеркальце, фаянсовая чашка без воды, навеки застывшая в ожидании. Большое зеркало, в нем еще один черный стол, еще одна освещенная черным светом комната, обитая черной кожей тяжелая дверь замыкает ее.

Густав стоял в покое старухи Клары – матери его отца, никто не одаривал его вниманием, не тревожил, никто сюда не врвался, да никто и не мог ворваться, дом действительно был пуст, и лишь смутная тень кровной привязанности иногда сходила со стены...

Она лежит на узкой железной кровати, издающей после каждого робкого движения старости страшные звуки, бесцветные глаза на бесцветном лице широко открыты, бездумно смотрят в потолок, тихий прерывистый скрежет вырывается из костлявой груди. Клара боится пошелохнуться, боится страшных звуков своей кровати, да, в них теплится жизнь, но они напоминают о смерти, она мертва, она жива, хочет жить, кричит, громко хрипит, угрожающе кашляет, зовет на помощь старшего сына – Стефана. Стефана нет дома, он в конторе, заместителя начальника вызвали туда два часа назад, Клару никто не слышит, Клары нет, ее незаслуженно забыли, она стонет, молит о помощи, молит о помощи жену старшего сына, но между ними, сегодня и всегда, толстая стена, звуконепроницаемая, много толстых стен. Лиза не слышит, она далеко, она в самой дальней комнате, она не хочет слышать, она ненавидит Клару, она боится Клары. Левая рука старухи парализована, она пытается встать, подтянуться здоровой рукой к спинке-решетке, вырваться из плена железа, опять ворваться в жизнь, хотя бы ненадолго, но с грохотом падает на кровать.

– Стефан!!! Стефан! Слышишь, я зову тебя, Стефан!!! Сколько можно кричать! Лиза!..

Густав обернулся...

Взгляд упирается в тело, руки, глаза. Глаза расплываются. Лицо без глаз... Он пытался их вспомнить, напрягся. Ведь только что он их видел... Глаза. Вот они. Их нет. Они закрыты. Клара здесь. Вся в черном, в черном платье, которое она надевает всегда, когда ей удастся встать с кровати, с закрытыми глазами ждет в одиночестве, никто не помогает ей ждать, не сокращает беседой ожидание, да она и не хотела бы, никому не понять ее скорбного волнения; это ее собственность, это ее молчание. Клара привыкла ждать. Старуха, сгорбившись, сидит за столом, ей тяжело, ей очень тяжело, она роется в карманах, роется в фотографиях, роется в угасшем тепле, ищет и не может найти. Натуго завязанные брови не развязать... И вдруг... Взрыв карточного разноцветья – черви, тrefы, пики – лица разлетаются над столом, вертолетами кружат вокруг воспаленной памяти. Масть. Он!!! Клара нашла его, узнала сразу, она помнит своего младшего сына, самого дорогого, любит, она подарит ему половину дома, только бы приехал, пришел к ней, поцеловал руку, встал на колени, она простит его, простит непослушание маленького большого Марка, она забудет все ссоры, свой же в нем гонор, раннюю необдуманную женитьбу, простит, по слухам, красавицу жену, которую никогда не видела, простит его детей, которых не знала, как звать.

У Густава закружилась голова...

Клара опять зовет Стефана, но его нет, она проклинает все живое, но сын не может услышать, он уже несколько часов сидит за письменным столом в своей конторе, перебирает документы. У него плохое настроение, целый день идет проливной дождь, и ему хочется домой, и его замучила работа, осточертели ревизии и контроль, он хочет отдохнуть, лечь в мягкую свежую постель, приласкать жену, почувствовать себя мужчиной, выпить чашку крепкого чая, съесть кусок теплого пирога. Сегодня – воскресенье, все отдыхают, Стефан – заместитель начальника городской страховой конторы, он сегодня работает, роется в бумагах, выбрасывает бумаги, подшивает бумаги, подписывает, разрешает, отказывает, запрещает, просит, его просят, это не первый его рабочий выходной день, и наверняка не последний, он устал, начальник отдыхает, Стефан работает, подбирает клиентов, и он мечтает стать начальником, и он мечтает плевать на клиентов, отдыхать, когда отдыхают все, не думать ни о чем, спать и быть уверенным в своем заместителе, пить крепкий чай и есть пирог, когда хочется, и он хочет хорошего настроения, только через неделю закончится ревизия, пускай перестанет идти дождь.

У заместителя начальника страховой конторы два сына, Густав – младший сын, он ждет третьего сына, и только сына, они будут мужчинами, и, конечно же, настоящими мужчинами, Стефан их научит жить, по-настоящему жить, он любит своих сыновей, любит, но забыл о них, они живут без него, они не нуждаются в нем, они не знают его ласки, они растут без отца, у них есть отец, у них нет отца, они его почти не видят. Уже который год Стефан целые дни проводит в конторе, государственном учреждении, работа съедает все время,

начальник съедает все свободное время, время съедает Стефана, но нет, он не забыл своих детей, он спит и просыпается с ними в одном доме, кормит и одевает, конструирует их будущее, на них работает, ради них страдает, зарабатывает, подписывает, обещает, разрешает, запрещает; стесняясь, просит.

Дождь кончился, перестал отвлекать и нервировать, злить, врываться в конторские объятия. Душа Стефана настороженно притаилась, лишившись аккомпанемента, осталась одна, наедине с заместителем начальника, она в четырех стенах, белых, с обветшалой штукатуркой, наедине со столом, большим, набитым папками, наедине со шкафом, заваленным неотложными делами; она молчит, боится Стефана, его работы, его бумаг с печатями и его важного начальника, она хочет заполнить вакуум, ожить, соединиться с телом – как призрачно и пусто, лучше пусть тарахтит дождь. Стефан о душе забыл, ему и на сей раз не до нее, он без перерыва работает, боится, застраховывает: от пожаров, взрывов, наводнений, травм, землетрясений, ограблений, ударов, порезов, укусов, поломок, стрессов, катастроф, ожогов, отравлений, тайфунов, кораблекрушений, извержений. От покушений, глупости и даже оскорблений. Боится взрослых, больных, младенцев, подлецов, здоровых, героев, ленивых, трудолюбивых, умных, слабоумных, холодильники, велосипеды, машины, лодки, мебель, коляски, посуду, боится, гарантирует, увещивает, Стефан – образцовый страховой агент. Он сидит с тяжелой головой, отупевший от исписанных бумаг, насморка и духоты, выходит на улицу, на улице ему становится полегче, но чувствуется вдвойне обиденная, вдвойне бесправная воскресная усталость. Стефан возвращается домой.

Мокрый, блестящий, как скользкая чешуя только что выловленной из магазинной бочки рыбы, асфальт спешит под его ногами, сворачивает влево, вправо, перепрыгивает строящуюся трамвайную линию, огибают большие лужи, превращается в сплошное месиво грязи, переходит в выложенную местами красным кирпичом тропинку, и вновь, как ни в чем не бывало – асфальт. Стефан возвращается известным только ему лабиринтом, никто не предполагает такого затяжного маршрута, столь необходимого чиновнику для поддержания тонуса перед работой, а после нее – для успокоения.

Густав открыл окно...

Чугунная масса позднего вечера. Придавленный город. А вместе с ним и придавленная до утра жизнь. Исчезновение звуков. Вымирание видов. Зарождение снов. С плотно закрытыми деревянными ставнями длинное, без запятых, перечисление чужих невысоких окон и еле заметные, проскальзывающие сквозь узкие щели, лучи света. Они выносят из обжитых комнат частицы домашнего уюта и растворяют их в весеннем холоде пустых улиц. Гнетущая живопись. Бездна пейзажа. От этого позднего юного прохожего, спешащего навстречу отцу, знобит еще больше, он

ускоряет шаг. Жаль, что кончилась зима, когда можно было носить теплое пальто и заячью шапку. Сын торопится...

Но встреча не приближалась, она была далеко, Густав бежал к ней, пытаясь укрыться от безжалостного ветра времени – не получалось, и руки синели от прикосновения ледящего воздуха.

Густав резко останавливается. Будто врезается в невидимую прозрачную стену. Перед ним полуоткрытая дверь небольшого бара. Он рассматривает уставленную пустыми бутылками витрину и устаревший преискурент, не решаясь войти вслед за отцом. «Дома нервничает мать, – думает он, – наверное, ищет», – но уже по-кошачьи переступает порог, прячется за дверь. – «Буду ждать».

Здесь пьют, закусывают и стоят. С дряблыми щеками, с закрытыми темными очками глазами хозяин предлагает очередному вечернему посетителю водку. Стефан не отказывается, выпивает одним глотком – локоть на уровне плеча, его передергивает. Он не переносит спиртное, но пьет порой из упрямства, пьет, заходя сюда после работы, когда хочется спать и болит голова, когда ощущается физическая боль, пьет, по привычке заходя сюда перед конторой, когда нужно бодро включиться в работу. На лице всегда гримаса, ему здесь противно, все здесь противно, но в этот вечер он заказывает еще водки, и вновь его передергивает. Может, еще одну, последнюю? Нет, стоп. Стефан поворачивается в поисках настырного взгляда.

Окно захлопнулось...

Клара вздрагивает. Она возбуждена, обессилена. Она понимает, что последний день ее приближается и остается немного, а скорее всего, и совсем ничего. Поэтому старуха боится выходить из комнаты, боится открытых окон, открытых дверей, боится, что за ней вот-вот придут, придут без приглашения, в любое время, и, не спросив, унесут далеко от этого дома. И если бы ее не мучил вчерашний разговор со Стефаном, она заснула бы прямо за столом.

Клара начинает диалог.

– Я позавчера получила письмо от Марка. Дела его из рук вон плохи, но мне, наконец, удалось уговорить его приехать. Да хоть и с семьей. Через пару недель все изменится. Вы будете жить вместе. Я разделю дом поровну. В этих трех комнатах будешь жить ты с Лизой и детьми, и я буду жить с вами. А те две комнаты с коридором я отдам ему. В дальней комнате пробьем еще одно окно во двор.

Помолчав несколько секунд от растерянности, Стефан отвечает.

– Да ты... Да ты подумала, что говоришь? Как это пришло тебе в голову? С какой семьей? В конце концов, ты спросила меня о том, хочу ли я жить с Марком? Я – хозяин в этом доме. Никаких трех комнат, никаких окон, никаких перестроек. Все будет по-старому, и ему здесь нечего делать...

Клара продолжает.

– Хозяин? Да как ты смеешь?.. Когда ты успел стать хозяином? До тех пор, пока я жива, мое слово будет здесь последним. Никто меня

не переспорит. И не старайтесь. Слышишь? Тебе, видите ли, не хочется жить с Марком. А мне наплевать. Меня это совершенно не волнует. Это мой дом. Слышишь, мой!.. И не гневи Бога... Ведь он тебе родной брат.

Стефан продолжает.

– Родной брат... Родной сын... А ты забыла, когда он уехал еще юнцом, бросив все и всех, когда при смерти лежал отец, когда ты сидела ночами в этой комнате, на этой же кровати и лила слезы, а затем посылая на его голову громы и молнии, когда ты от него отказалась, заявив это мне, старшему сыну. Точно забыла. Может быть, ты его даже простила? А??? Ты подумала о том, что у него двое детей, а у нас скоро появится третий? Дом превратится в казарму. Это не приют для каждого неудачника. Об этом ты тоже не подумала... Добрая душа... Просто ты захотела, чтобы все было по-твоему...

Клара не выдерживает и перебивает Стефана.

– Да опомнись... Ты забыл, что мне, матери, единственной позволено проклинать и прощать! Единственной!!! Это моя плоть... А в этой громадине всем найдется место, в ком течет моя кровь. И ты не имеешь ни малейшего права со мной спорить и тем более обижать. Опомнись... Как ты посмел обидеть старую больную мать?.. Я догадываюсь, чего бы тебе хотелось... Но не-ет. Этого не будет! По-твоему не будет! Я еще буду жить!.. Буду долго жить!!! Всем вам назло! Слышишь??? Наз-зло!!!

Стефан перебивает.

– Мать...

Клара не успокаивается.

Стефан не успокаивается.

Клара продолжает.

– Молчи. Ты должен молчать, когда говорю я. Слышишь??? Молчать!!! Тебе мало трех комнат и дела нет никакого до брата... Ты и меня хочешь отсюда выжить, а еще лучше сразу...

Стефан опускает голову.

– Ты неправильно...

Клара оскорбляет сына.

Стефан молча выходит из комнаты.

Старуха продолжает сидеть за столом, перебирая в мыслях разговор с сыном. Она жалеет о том, что обидела Стефана, но больше ее мысли занимает Марк. Она перечитывает неотправленное письмо, второе, третье. Висящие на стене старые, с синими стрелками, часы показывают 22.30.

Клара надеется, что он приедет со дня на день, глаза жаждут увидеть сына. Еще ребенком он бегал по двору между деревьев и колючих кустов роз, обсаженных анютиными глазками и луком; в жаркий, знойный полдень взбирался на самую макушку старой яблони и кричал: «Солнце, солнце близко!» А потом он ушел из дома, так же неожиданно, как и стал взрослым. Об этих годах Кларе вспоминать особенно больно, именно тогда он пренебрег ее любовью. Именно

тогда он променял тепло материнского сердца на холод остального мира. И вот Клара прощает сына и ждет его скорого возвращения, прощает себя, и ей хочется крепко поцеловать Марка, прощает всех вокруг. Клара прощает.

Пальцы отстукивали дробь. Нервно сгибаясь, как бы подпрыгивая, затем выпрямляясь от каждого удара, они напряженно трепетали на старой черной тумбочке и не искали для себя другого, привилегированного места. Аккуратно подстриженные розовые ногти подчеркивали всю внутреннюю страсть, загнанную в кончики этих пальцев. Они помогали памяти бережно переворачивать страницу за страницей, и в их поэтичном стуке отражался ритм переживаний, они пытались подробно передавать ход мыслей и всякий раз уходили из-под контроля сознания. Они раскрепощали. Они дарили полноценное ощущение одиночества и свободы. А вместе с этим ощущением наступало и понимание всего случившегося за последние дни. Никто не мог помешать быть откровенным с самим собой.

Густав – слушатель.

Густав – зритель.

Густав – участник.

Клара слышит скрип медленно открывающейся калитки, слышит, что кто-то входит во двор, слышит тихий шум голосов, возню около своей комнаты. Вот оно, земное счастье! Вот оно, Божье провидение! Клара узнает Марка. Клара смотрит на сына и не может поверить, ведь это ее Марк, которого она ждет долгие годы, не увидев которого боится умереть; она протягивает руки, целует свое чадо что есть силы и сдержаться не может, слезы текут по двум образовавшимся ложбинкам на высохшем лице – это ее сын, она его теперь никому не отдаст, ни с кем не поделится, никуда не отпустит, она никому не позволит его увести, никогда. Клара берет со стола склеенную фотографию, протягивает ее Марку.

Марк узнает себя, дом, где он жил, куда приехал опять, где когда-то ему стало все чуждо, откуда он не уехал – убежал, убежал навсегда, лишь бы не быть в нем ни минуты, но сейчас он вновь здесь, у же с семьей. Каково будет? Марк не знает.

Клара радуется, сын стоит перед ней, радуется, что все вышло так, как желала она, Клара смеется в душе, все-таки он вернулся, у нее есть еще силы, Клара торжествует, Клара сильна. Марк внимательно смотрит на мать, но ее он узнает едва, прошло столько лет, она совсем постарела, а ведь тогда была женщиной; старость высушивает все, высушивает всех, старость – время, оно не жалеет никого, ни матерей, ни их детей, которым больно смотреть на своих старух, так оно и течет. Марку больно, но жалеет ли он о поступках своего прошлого? Нет, просто жаль старую мать. Теперь он будет жить с ней, в этом чужом-родном доме, их будет разделять только стена между комнатами, теперь он будет вновь принадлежать ей. Родительское чувство собственности стоит дорого, Клара не отдаст Марка никому, даже его жене и детям. Она смотрит на Дору, которая, прижимая

младенца к груди одной рукой, другой держит за руку старшего сына – Стефана. Клара смотрит на новых родственников глотающим взглядом, для приличия пытается улыбнуться, но с трудом выдавливает из себя ухмылку: «Я думала, твой второй ребенок старше». Она смотрит на жену Марка и его детей, ненавидит их, они виноваты во всем, они не отпускали Марка, заставляли мучиться старую Клару, они отняли у нее сына, назвали его отцом, мужем. Клара прощает все, но этого простить не может, она не простит годы разлуки, не простит смерть мужа, не простит горьких слез по ночам, безудержной людской молвы и злобы. Во всем виновны они – его жена, дети.

Дора сидит в четырех чужих стенах, на чужом стуле, рядом с чужой кроватью, смотрит на чужую мебель, чувствует себя чужой, Дора одна, одна в чужом городе, о котором никогда не слышала, не представляла ни на школьной географической карте, ни в своем воображении, Дора предана своему мужу, ради него принимает будущие муки, она предана своим детям и глубоко зарывает свою свободу. Входит Лиза, не замечает, не хочет заметить еще одно присутствие, новое, протискивается между черным стулом и широким черным диваном, останавливается в углу, открывает дверцу старого шкафа, вытаскивает кучу пестрых старых одежд, начинает их перебирать – потертые синие штаны, черное, с красными розами, шелковое платье, еще одно платье, розовое, еще одни брюки, сорочка с узором вышитым воротником, сорочка с короткими рукавами, опять розовое платье, опять брюки, шарф, здесь же простыни, плед, пододеяльники, прочее барахло, Лиза. Немое презрение.

Клара в праздничном черном платье. У ее кровати на стуле из черного дерева лежит большой ломоть свежее испеченного домашнего хлеба, от него идет пар, рядом лежат морщинистые руки; ей не терпится увидеть Дору. Скрипит дверь. Входит озабоченный Марк, берет альбом с фотографиями и выходит. Скрипит дверь – она!!! Старуха дождалась, глаза сверкают на серо-желтом лице, они ожили, они угрожают, готовы сжечь Дору, которая застыла у стола и не знает, куда себя деть. Дора смотрит на свекровь, и ей нечего сказать, она не знает, зачем ее сюда звали, и ждет. Клара молчит. Уголки ее губ поочередно дергаются.

– Все по-моему. Он приехал. Я была права, он никому там не нужен. Никому. Кто он? Беспорядочный. Беспорядочный и нищий, и я его приютила. Я. Его. Иначе все вы попередохли бы с голоду. Все. И он, и ты, и твои дети. Зачем он сюда вас привез? Почему не бросил? Почему? Кому он вас привез? Мне? Или надеетесь, что я скоро отправлюсь к праотцам, и дом вы поделите между собой? Не-е-ет! Я еще буду жить. Я еще сильна. Что тебе надо? Зачем пришла?

Клара переводит взгляд на хлеб, который уже почти остыл.

– Я буду долго жить. Он меня не обманет. Я в него верю, верю... Он не может меня обмануть. Он никого еще не обманывал, ни мою бабушку, ни моих теток, ни мою мать. Не обманет и меня... Я и тебя переживу.

Старуха тянется за хлебом и начинает его мять.

– Ты не обманешь меня... – Глаза ее поднимаются кверху. – Подойди сюда.

Дора подходит, совершенно не понимая, чего от нее хотят.

– Бери.

Клара двумя руками держит за край ломоть, держит крепко, боится выпустить, обтянутые треснутым пергаментом косточки впиваются в свежую мякоть, ногти утопают в ней. Старуха, покачиваясь, встает, и ее руки тянутся к Доре.

– Ломай!!!

Дора прикасается к хлебу. И сумасшедшая радость Клары испепеляет мир. Кажется, что она вот-вот упадет замертво и наступит тишина. Она смеется и, астматически захлебываясь, кричит.

– Я не умру. Я буду еще долго жить. Слышите, долго. Я переживу вас всех!!! Больших и малых. Больных и здоровых. И того, что еще не родился, и тебя, – кусок хлеба мелькает перед лицом Доры, – самое главное – тебя. Слышишь??? Я вас всех переживу. И тебя, и тебя, и тебя...

Посреди комнаты стоит только Клара, судорожно трясет отвоёванным у Доры бо́льшим куском, и ее безумию нет конца. До самой ночи к ней никто не входит. Она – одна.

Мертвая комната сквозь замочную скважину.

Густав вслушивается в истеричный клекот старой немощной Клары. Он сидит во дворе, под высокой, с набухшими почками, яблоней и наблюдает за голубями на крыше соседского сарая. Солнце уже идет к закату, и серые, с переливами, птицы, непрерывно взлетающие и опускающиеся на чуть теплую черепицу, заслоняют его. Ветра нет. Густав знает, что все дома, но никто не появляется, кроме матери, изредка проплывающей в угол двора с какими-то ведрами и пустыми коробками. Голуби продолжают клевать щедрые крошки, которые им бросают из соседнего двора.

Неистовая радость бабки заставляет Густава оторвать взгляд от крыши. Он вздрагивает. Шум доносится из глубины дома. Несколько раз кто-то хлопает дверью. Радость превращается в вопль, и через некоторое время, утопая в хрипоте, смолкает совсем. В доме наступает неживая тишина. Все будто вымерло. Каждый сидит в своей комнате и боится выйти. Тревожное предчувствие. Густав боится войти в дом. Он сидит под яблоней, но ненасытные голуби его больше не интересуют, он сидит в конце двора и смотрит в открытую дверь дома, через которую видны три другие двери, но ни одна из них не открывается. Только к вечеру из своей комнаты выходит мать, замотанная красно-черным узорным платком, и, просеменив вдоль дома, поспешно закрывает за собой калитку.

Густав входит в коридор. Темнеет – ночи рассвет. Ни единого звука. Страшно. Останавливается у двери. Здесь живет Клара. Мертвая комната сквозь замочную скважину. Посреди – лежит тело. Можно

подумать, что оно мертвое, но редкие вздохи-выдохи еще удерживают в нем жизнь.

Густав поднимается с колен.

Сзади стоит Стефан, сын Марка.

Лиза плачет, но ей нельзя плакать, плачет на груди мужа и жалуется на судьбу, она проклинает бедную старуху, которая не может заснуть в соседней комнате, Стефан молчаливо кивает головой, он соглашается с плачущей женой, не успокаивает ее и только жалеет, мягко поглаживает широкой ладонью густые подстриженные волосы. Лиза бубнит себе что-то под нос, вытирает слезы замусоленным, с веселыми цветочками, носовым платком и время от времени легкое всхлипывание переходит в надрывное глухое рыдание. Стефан устал стоять, сажает жену на кровать, открывает окно и приносит кружку воды. Лиза замолкает.

Стефан сидит во дворе, курит. Одна затяжка глубже другой. Он не может разобраться во всех домашних перипетиях. Уже начали появляться первые зловещие комары, слабое ночное гудение раздражает пустоту, вместе с ней нервы. Небо – черное, звезды – крошечные отверстия, из которых струятся нити неоновой света. Стефан курит, он думает о Марке, тихо разговаривая сам с собой.

– Господи...

Густав услышал голос отца и открыл глаза: ничего нового, все тот же бездонный потолок, хлипкое беспомощное эхо пропадало в нем. Вокруг по-прежнему никого не было, только назойливый запах ужина, который на кухне подогревала жена, заполнял пространство. Он встал, выпрямившись во весь рост, лениво потянулся. Из сумки на столе появились два лимона и кусок белого хлеба – единственный шанс не страдать ночью от боли в желудке – и им пришлось воспользоваться. Положив руки на колени, жена сидит напротив, всматривается, пытается хоть что-нибудь узнать о причине отъезда мужа. Она чувствует, что случилось то недоброе, что могло перекроить остаток ее жизни, ей хочется заплакать, выплакаться, понять. Густав нарезал лимон. Но в реальности жены рядом не было, она осталась там, на кухне, во вчера, а поезд унес его далеко, в сегодня. Часы не продолжали отсчитывать. Было 22.30.

И опять поезд... И опять наполняющие любое поездное путешествие пейзажи. Взбитая пена облаков заволакивает уставшее бледнолицое солнце, сторбившиеся глинобитные домишки сменяются бархатно-светло-зелеными холмами, редкие, обсаженные молодняком, лесопосадки перерастают в бескрайние пустые степи. С песней бравым маршем шагает взвод мальчиков-курсантов, они внимательно смотрят в затылок впереди идущего, а до блеска начищенные сапоги синхронно висят в воздухе. Им хочется жить, наслаждаться здоровьем, им хочется снять уже ненавистную грубую форму и голыми и свободными окунуться в прохладную воду. Скоро наступит вечер, в огромной длинной казарме они будут робко снимать свои галифе с

гимнастерками и стеснительно посматривать друг на друга, а затем – крепкий, без сновидений, сон.

Хрупкие красно-черные фигуры исчезают. Им на смену всплывают другие. Сумерки густеют. Желтые квадратные тени окон бегут параллельно ночи, и даже неослабевающий стук колес в дуэте с визгливым чахоточным гудком не мешает заснуть. Поезд торопится. Поезд опаздывает на два часа.

Снежно-мраморная площадь упирается в низкую каменную стену, увешанную картинами. Сюда собираются толпы средневековых горожан. Одетые в черное, они вразвалку расхаживают, перешептываются, похотливо переглядываются. Неожиданно сотни взглядов обращаются на две медленно приближающиеся фигуры – одну высокую, с длинными седыми косами, в широком, до босых пят, балахоне, и другую – совсем мальчишескую. Густав узнает себя. С ранцем и в одежде, в которой обычно ходит в школу, он крепко держит за руку своего покровителя. Постепенно все расходятся и, когда стена оказывается уже совсем рядом, Густав замечает, что он один. Голос незнакомого музыкального инструмента смолкает. Заключенные в объятия тяжелых обветшалых музейных рам лица смотрят сосредоточенно и странно, как живые. Жутко. Выход есть: бежать, но останавливает любопытство, сила соблазна отдаться своему страху.

Стрелы впились в крепкое нагое мужское тело. Тоненькие струйки крови. Кто стрелял??? Почему? Кто это?.. Отец!.. Нет!!! Отец сейчас спит в соседней комнате. Нет!!! Лицо... Неужели это он? Ему больно, но почему он смотрит так строго? Разве я виноват, что не могу помочь? Густаву хочется закричать, позвать на помощь, но... Высохшее, как у мумии, лицо старухи, длинные руки, безжизненно лежащие на коленях, высверленные глаза, впитывающие всю пустоту площади... Густав вздрагивает. Он всегда боялся своей бабки, боялся, что она умрет, уведет его с собой, и это абсолютное сходство его беспокоило. Ба... Густав отскакивает в сторону, закрывая лицо руками, будто пытается увернуться от колючих розог старости, и в этот момент чей-то неожиданный вздох заставляет его перевести взгляд. Перед ним... Густав окаменел. Женщина грудью кормит младенца. Но ни выходящие волосы, ни золотисто-коричневое платье, ни голубое небо в двух маленьких окошках за ее спиной не привлекают его внимания. Перед ним сидит женщина. Он жадно смотрит на большие, с острыми ресницами, глаза, на губы, на нежную кожу рук, на полную жизненного сока грудь, и чем дольше он стоит перед картиной, тем больше ему хочется оказаться рядом с этой женщиной. Он не замечает ребенка, которого кормит мать, а когда глаза останавливаются на маленьких губках, его переполняет ревность, ребенок превращается в заклятого врага, который отнял у него самое сокровенное и дорогое... Кто она?.. Это была не мать и не его учительница, это была чужая женщина, которую Густав никогда не видел, но как она ему сейчас близка! Ему хочется прикоснуться к ней, он завидует своему

ненавистному врагу. Густав хочет сделать шаг навстречу, однако уверенный голос окликает его.

Рядом стоит мальчик. Которого Густав никогда не видел. Стены с картинами нет. Покровитель давно исчез. Они вдвоем. Что он здесь делает? Я его не знаю. Неизвестный протягивает руку. Густав пятится назад. Куда делась эта красивая женщина? Он ищет ее глазами и не может найти. Свершилось предательство. Меня оставили наедине с этим... Откуда он знает мое имя? Густав тоже пытается протянуть руку, но вдруг срывается с места и бежит, бежит по снежному мрамору, грязному песку, камням, пустым городским улицам, темным переулкам, мимо домов и вдоль деревянных заборов, между распутившимися деревьями и цветочными грядками, сворачивает за угол, бежит не глядя. Он тяжело дышит, ноги подкашиваются. Густав пробегает еще несколько десятков метров, спотыкается и падает на тротуар. Боль вонзается в тело. Он лежит... И только теплое прикосновение приводит его в чувство. Густав поднимает голову, встает и, улыбаясь, будто ничего не случилось, протягивает руку.

Дальше они идут вместе, держатся за руки и взахлеб смеются. Начинается сильный дождь, старая, с густой желтой листвой, акация служит им укрытием. Неизвестно откуда к ним подходит высокий мужчина в черном костюме, берет Густава за руку и ведет за собой. Густав узнает своего покровителя, но идти за ним не хочет, отбивается, упирается, кусает его за руку. Капельки крови выступают на белой коже, замедленно стекают на серый бульжник. Плачущий взгляд мечется...

Густав проснулся в поту и слезах. Этот сон он уже видел. Когда-то. Неужели видения повторяются? Стефан, так ты и остался двенадцатилетним.

Все слилось воедино – потолок, стены, серый оползень предрассвета. Душно. Густав задыхается, сжимая руками облезлое шерстяное одеяло. Вот уже долгие годы сон покидал его рано, когда только начинало светать, когда черная бездна ночи медленно поднималась вверх, уходя в небытие, а несозревший свет нового дня едва-едва проникал в комнату. Роковая граница между темнотой и днем, минуты, когда чувства растворялись, время исчезало, все вокруг становилось призрачно-прозрачным, эфемерным, пустым. Безразличие предутреннего постоянства подавляло, а когда хотелось кричать, прерывало дыхание, уводило от себя в лишенные смысла глубины безнадежности. Ничто не меняется: что было вчера, то будет завтра, через сто лет... Белое останется белым, черное – трауром, красное – кровью, урод будет завидовать манекену, слепого поведут под руку, но он упадет, его обманут, но он никогда не узнает, сухие ветви деревьев не станут зелеными, цветы расцветут и увянут, ничто не изменится, а исчезнет все. Густав был в этом уверен, он – постоянный человек.

С трудом удалось подняться и выйти во двор. Запах реки ощущался еще сильнее, чем днем. Густав дошел до яблони и остановился. Его трясло от холода. И от страха. Почему все так

получилось, он не знал. Не знал никто. Почему тебя бросили, Стефан?.. Густаву захотелось согреться. Он вернулся за одеялом и набросил его на плечи. Утро выросло из ночи. Его небольшой кусок земли поворачивался лицом к свету.

II

Густав не одевался. Это позволяло ему ощутить раннее воскресное утро. Он вновь взял измятый конверт, недоверчиво посмотрел на обратный адрес, будто проверяя память, и, подержав его в руках несколько тревожных секунд, опять положил на стол. Затем встал, подошел к зеркалу, не шевелясь, начал вдумчиво разглядывать свое отражение. Это были два одинаковых человека, испытующе смотревших друг другу в глаза извечным всепонимающим взглядом. Они растворялись внутри черной металлической рамы, растворялись друг в друге, уходя в подсознательное самоощущение своего пола, пола резких изгибов и прямых линий. Неожиданно Густав вздрогнул, узнал себя, но продолжал смотреть, наслаждаться своим телом, вернее не своим, а телом, что было напротив, рядом; оно ему нравилось и не потому, что было его собственным. В нем сквозило что-то чуть незнакомое, и когда Густаву хотелось на миг это что-то поймать, он хватал себя за руку или, слегка прищурившись, подходил к зеркалу ближе, и тогда оно моментально расплывалось, и оставалась лишь нагота, неприкрытая нагота двух знакомых-незнакомых людей. Густав слегка нагнулся, чтобы поднять с пола упавшее полотенце. И вдруг испугался. Испугался чужого движения, чужого тела, чужого взгляда. И быстро оделся. Вытянувшись на плюшевом диване, он перечитывал письмо.

Почему никто никогда не писал о Стефане? Неужели о нем забыли? Неужели его мать, отец, сестра, переехав в другой город, оставили его навсегда? Одного. Они никогда сюда не приезжали, вычеркнув его из своей новой жизни, безжалостно отвернувшись от прошлого.

Густав толкает приоткрытую дверь и – комната перед ним. Полупустой белостенный куб приглашает внутрь, и Густав входит. Он стоит один в уже чужой комнате; на письменном столе и вокруг на полу разбросаны тетрадные, в клетку, испачканные акварелью, листы бумаги: желтые, зеленые, красные, на большинстве из них нарисованы астры, одни – желтые, другие – синие, третьи – зеленые. Разве бывают в природе зеленые астры? Почему так много желтых и синих? Густав поднимает с пола несколько листов, внимательно рассматривает каждый из них. Да ведь они все зеленые?!

Воскресное утро. Еще зашторенное окно не пропускает свет. Еще не выключенная лампа горит. Незаправленная кровать. Из-за стен доносятся чьи-то голоса, неразборчивая речь. Здесь живет Стефан. Это

его портфель и его рисунки. Он очень любит рисовать. Густав подарит ему свои новые краски.

Внезапные шаги.

Входит Стефан.

Они стоят друг против друга.

– Ты кто?

– Я твой брат.

– Брат?

– Меня зовут Густав.

– У меня есть только сестра.

– Я – двоюродный брат.

– Хм, меня – Стефан.

– ...

– Что ты здесь делаешь?

– Ничего.

– А почему в моей комнате?

– Так просто.

– Кто тебе разрешил сюда войти?

– Дверь была открытой.

– Нет, она была закрытой.

– Я только...

– Твой отец Стефан?

– Да, ну и что?

– ...

– Ты любишь рисовать?

– Какая разница?

– Но ведь это твои рисунки.

– ...

– Они валялись на полу, и я положил их на стол.

– Не надо ничего трогать.

– Я хочу подарить тебе краски.

– Не нужно.

– У меня есть хорошие краски.

– Оставь их себе.

– Но я не рисую.

– ...

– Ты почему молчишь?

– Уходи к себе.

– Я сейчас, только...

В комнату входит Дора, взволнованно задерживается в двери, ладони на бедрах.

– Мальчик, выйди, и чтобы сюда больше не заходил.

За окном кричали последние, запоздавшие петухи, будили, пробуждали спящий город, обрывая сон, бессоние, по-прежнему...

Жизнь здесь начинается с едва проснувшегося, насупленного базара – длинных громоздких деревянных рядов, огороженных многолетним, покрытым диким виноградом, забором. Боязливый

людской гомон: все тянутся сюда рано, приходят оценивать, их тоже оценивают, недооценивают, все заглядывают друг другу в кошельки, набитые и пустые, глаза торгуют, глаза торгуются, лица – глаза, все превращается в шелестящие купюры-бумажки, зеленые, красные, синие, желтые, желтых больше других, они переходят из рук в руки, из кармана в карман. Обман! У полусветской дамы в темно-красном платье украли деньги, она плачет, ее трехлетний сын тоже плачет, только громче, сыну жалко маму, маме жалко вышитый кошелек. Все продается, перекупается... Наперегонки оценивается... По-прежнему.

Улица встретила Густава почти родственной нежностью. После вчерашнего дождя на тротуарах было много больших и маленьких луж и лужиц, игриво отражавших ярко-голубые куски безоблачного неба. С деревьев изредка падали крупные капли. Густав шел не спеша, мимо цветочного ларька, по безлюдной улочке, которая вела к заброшенному кладбищу недалеко от центра города.

Они дерутся перед окном кабинета директора школы, во время большой перемены, между вторым и третьим уроками, то агрессивно упираясь в землю своими тонкими ногами, то широко расставив их, делают неожиданные дерзкие выпады, длинные руки сплетаются сложными узлами, а угрозы блестящих глаз то отталкиваются, то сближаются. Они крепко наваливаются друг на друга, стискивая зубы, и, как бы желая убедиться в силе собственных тел, внезапно отпускают руки, стараясь заманить друг друга в нехитрую ловушку. Слегка спотыкаясь, они шаркают ботинками по сухой земле школьного двора, поднимая разозлившееся облако пыли. Дерутся они беззвучно, чаще видны только их ноги, выполняющие быструю, целеустремленную работу, непредсказуемую и совершенно необъяснимую. Движения задиристых рук и тел временами скрываются от взгляда, так как полуподвальное окно открывает их туловища только до половины. Моментами, когда спина одного из них сгибается, можно разглядеть вязаный шарф и профиль покрасневшего лица, затем показываются синий шерстяной свитер, зеленая вельветовая куртка, а спустя миг становятся видны раскрытые от напряжения рты и глаза, полные удивленного отчаяния и непокорности. Они дерутся на двадцать четвертый день появления Стефана в классе, где учится Густав. Это происходит неожиданно для обоих. После каникул. Когда классная руководительница приводит Стефана, он, увидев брата, даже не может выговорить своего имени и сразу садится на отведенное ему место в углу, на задней парте, и в течение всего урока не поднимает голову. Густав вздыхает, и белое лицо наливается краской. Их фамилии в классном журнале стоят рядом, они даже внешне чем-то похожи, но о том, что они братья, не догадывается никто. Все относится к новичку с повышенным интересом, и это накаляет их отношения еще больше; домой они возвращаются разной дорогой, утром на занятия приходят в разное время, на переменах стоят в разных концах двора, но так, чтобы друг друга можно было видеть, и смотрят друг на друга украдкой, из-за спин своих товарищей.

Они дерутся около четверти часа, и директор следит за ними внимательно, с мучительным интересом, словно боится спугнуть драчунов. Словно следит за ними, находясь рядом с рингом. Маленькие гладиаторы подкармливают исхудавшее директорское воображение, и, кажется, пора делать ставку – конечно, на победителя. Наконец, он заканчивает тщательно пережевывать свой завтрак, не глядя и не отсчитывая бросает в стакан несколько кусков сахара, принимается за чай. Закругленные уголки глаз пристально наблюдают за поединком, губы – две малиновые мармеладные дольки – двигаются непрерывно, волнуяще, причмокивая. Синий свитер появляется все чаще, две пары ног со спущенными гольфами упираются уже не так твердо, как вначале, они ерзают на одном месте, переминаются, не находя для себя прочной опоры. На землю падает шарф. До финального гонга остается пара усилий. Они дерутся, и плотный круг любопытных замыкает дерущихся. Кто-то выкрикивает подстегивающие призывы, подбадривает, подстрекает, некоторые смотрят на дверь, не появился ли кто из учителей. Стакан, еще не остывший от теплого чая, стоит пустой, слегка заостренная, с вытянутым лицом, голова то и дело меняет свою позицию, после чего от бессилия впадает глубоко в плечи – почти ничего не видно, лишь макушки мелькают среди десятков других, их заслоняющих, но ноги все же видны среди частогокола других ног, таких же. Теперь они стоят под углом друг к другу, словно в движении ритуального танца, дрожат, слегка сгибаются в коленях, и, наконец, оба тела с грохотом падают на землю. Вельветовая куртка сразу оказывается сверху, рука поднимается и падает, потом снова поднимается и снова падает. Кольцо смыкается плотнее. Слышится стон и скрежет зубов. Совершенно ничего не видно. В самый сладкий момент. Терпение надрывается, и цезарь выходит в коридор, который ведет прямо во двор. Как только его громоздкая фигура показывается в двери, все разбегаются. Лишь лежащие на земле замирают на месте.

Они стоят в кабинете директора. Директор сидит. Рядом – отцы. Четыре брата. Директор смотрит на них. Никто не смотрит на директора. Показательная пьеса. Поучительное молчание. Чем дольше оно тянется, тем больше неприятностей предвещает. Директор с трудом распечатывает рот. Губы фальшиво шевелятся, рождая слова, шевелятся долго, упорно, накапливая слоги. И, когда их набирается с избытком, ему удается издать первый звук. После чего он уже не может, да и не хочет себя остановить – с конвейера срывается целый поток громких слов. Директор боится замолчать и, овладев способностью говорить, использует ее до конца. Глаза наливаются злостью. Лицо покрывается красными подростковыми пятнами. Почувствовав этот прилив взогретой цезарской крови, он теряет, замолкает. И лишь после затянувшейся паузы, глубоко вздохнув, вожделенно поднимает глаза, смотрит на тонкие, изрытые царапинами ноги, на грязную вельветовую куртку, разорванный шерстяной свитер, готовится к новым увещаниям и угрозам. К неожиданности всех

невиновно-виновных звенит спасительный звонок. В этот день вся школа узнает, что они братья.

Мать его все утро ругала, ругала, ругала, кричала, хлопнула дверью, ушла, вернулась, опять ругала. Она ругает его каждый день, отец его не защищает, но с матерью все время из-за него спорит, вчера допоздна скандалили, он все время молчит, и когда на него кричат, тоже молчит, друзей у него нет, друзей у него совсем нет, он ни с кем не хочет дружить, ему ни с кем не интересно, все время один и один...

– Густав, будь внимательнее.

– Я слушаю.

– Вижу, как слушаешь.

Он постоянно что-то рисует, опять, наверное, цветы; мне нравится, как рисует, он будет художником, только бы она не заметила, что он не слушает, он на всех уроках с карандашом в руке, и дома, наверное; он не ходит гулять, я его почти не вижу во дворе, только однажды видел, когда он возвращался вечером, усталый, потом долго ругался его отец, потом кто-то плакал; целыми днями после школы Стефан сидит в своей комнате, все разбросано по полу, мои краски все равно лучше, зря он от них тогда отказался. Странно, моя мать говорит, что они отняли у нас полдома, ничего они у нас не отняли, им тоже где-то надо жить; а почему его мать выгнала меня из его комнаты, кажется...

– Густав, почему не слушаешь?

– Я слушаю.

Почему она делает замечания только мне, я же ничем не занимаюсь, я смотрю на карту, вот он рисует, но ему ничего не говорит, все время ко мне придирается; повезло же ему, сидит за моей спиной, поэтому она его и не трогает, он тоже иногда смотрит на меня, очень даже хорошо, что у него нет друзей, никто не знает о его рисунках...

– Густав, иди к доске.

«Опять меня...»

– Учил? – Стефан шепчет и подмигивает.

– Чего тебе?

– Сейчас подкажу.

Они стоят во дворе за сараем, и из дома их не видно.

– Что делаешь?

– Ничего.

– Как ничего?..

– Тебя тогда ругали, когда были у директора?

– За драку?

– За драку...

– Ругали, отец даже ударил.

– Он тебя бьет?

– Иногда.

– Меня тоже иногда.

– ...

– Покажи, что рисуешь.
 – Не покажу.
 – Почему?
 – Я никому не показываю.
 – Я ведь видел твои рисунки в комнате.
 – ...
 – Злишься на меня?
 – Нет.
 – Извини.
 – И ты извини.
 – Твоя мать знает, что ты здесь?
 – Да, а твоя?
 – Моя тоже, но не знает, что здесь ты.
 – И моя, наверное.
 – Пойдем гулять.
 – Меня сегодня не пустят.
 – Тогда завтра.
 – Ладно.
 – Если хочешь, пойдем в порт.
 – В порт?
 – Да, я часто хожу туда после уроков.
 – Можно.
 – Там здорово.
 – ...
 – Дай взглянуть, что рисуешь?
 – На, смотри.
 – Почему ты рисуешь цветы?
 – Мне нравится.
 – Стефан!!! Сколько я должна кричать? Я кому сказала, иди сейчас же сюда... Стефан!!!
 – Сейчас!.. Ну так что насчет завтра?
 – Да, да.
 – Тогда пока.
 – Стефан!!! Я кому сказала...
 – На перемене договоримся.
 – Сразу же после уроков.
 – Но только больше никому...
 – Ладно.
 Порт.
 – Стефан...
 – А...
 – Почему твой отец приехал сюда?
 – Не знаю.
 – Там было плохо?
 – Не знаю.
 – ...

– У отца были проблемы с работой. Сначала он долго болел, потом на стройке случилась авария... Он нам все время говорил, что мать зовет домой, что дом есть дом, что всем вместе будет легче, что без родных рядом жить очень трудно.
 – А ты хотел бы вернуться?
 – Нет... нет, никогда.
 – Разве не хочется вернуться туда, откуда приехал?
 – Там тоже все было чужое.
 – И друзей у тебя не было?
 – Нет. Если только в школе.
 – А я мечтаю отсюда уехать.
 – Куда?
 – Все равно. Хоть на тот берег. Хоть куда-нибудь. Обязательно уеду. Хочу. Мне здесь страшно. Тебе нет?
 – Мне тоже, но чтоб уехать... Я об этом не думал.
 – Закончу школу и сразу...
 – Еще двадцать раз передумаешь.
 – Нет.
 – ...
 – А дядя Карл уехал.
 – Кто?
 – Дядя Карл, наш дядя, тот, что был на похоронах.
 – Да... Помню, он плакал...
 – Исчез после поминок. И откуда он узнал о смерти? Я бы тоже так хотел, чтобы никто ничего не знал. Никто. Совсем никто.
 – И где тебя будут искать?
 – Зачем меня искать?
 – Но мать, отец...
 – Я напишу им длинное письмо и все объясню.
 – Что объяснишь?
 – Почему уехал, почему мне было страшно...
 – Ты хочешь признаться в своем страхе?
 – А иначе меня не поймут.
 – Ты что... Разве можно понять чужой страх?
 – ...
 – Дай мне твой зеленый карандаш.
 – Ты что рисуешь?
 – Тот берег. Там так тихо.
 Далеко от порта. Берег. Молчание.
 – Тебе не холодно?
 – Нет, я привык. Возьми мою куртку.
 – ...
 – Если хочешь, пойдем домой.
 – Еще чуть-чуть.
 – Почему не рисуешь?
 – Солнце село. Завтра закончу.
 – Завтра ровно год, как вы сюда приехали.

- Знаю, сегодня с утра отец об этом говорил.
- Кстати, завтра родительское собрание.
- Я помню.
- Ладно... Не вздыхай.

Там же. Спустя полгода. Лед тянется по реке рваными серыми кусками, тихий скрип и плеск слышатся на берегу. Ветер – в лицо, и холодно. Холодно. Очень холодно. Они сидят, льдины перед ними. Вдруг...

- Стефан!..
- ...
- Стефан, что с тобой?
- Подожди...
- Ты слышишь, Стефан?
- ...

Голос Густава дрожит.

– ...

Голова Стефана падает на плечо брата.

– Что с тобой, Стефан, прошу тебя, скажи.

– Гу...

Он тяжело дышит. Глаза закрыты. Густав тащит брата к дороге. Нашупывает в кармане несколько монет и впервые в жизни останавливает такси. В машине Стефану становится лучше, и он приподнимает голову.

- Стефан, что с тобой?
- Куда ты меня везешь?
- Домой.
- Не надо...

Машина останавливается за несколько кварталов от дома. На глазах Стефана – слезы.

– Я сам...

– Я буду здесь, пока ты не войдешь.

– ...

– Иди.

– ...

– Иди-иди-иди...

На следующий день Стефан в школе не появляется, не появляется он и через неделю, две, месяц. Густав растерян. Он не понимает, что случилось, но знает, что Стефан мучается.

Отцы стоят в коридоре.

– Врачи решили его оставить дома.

Больше Густав уже ничего не слышит, он лежит на своей кровати, дрожит. Неужели все?.. Как?.. Не может быть... Что с ним?.. Неужели конец?.. Что же теперь будет?.. Нет... Нет, не может быть... Нет, ты не умрешь... Нет... Как я всех ненавижу... Стефан...

Густав врывается в комнату Стефана. Не произнеся ни звука, стоит на коленях перед его кроватью, прилипнув телом к белому одеялу.

Слезы.

В комнату входит Дора.

Она плачет.

Клара!!!

Густав не заметил, как оказался рядом с толстой кирпичной стеной. У черты, разделявшей его мира – мир прошлого, которое когда-то формально тоже числилось будущим, и мир будущего, которое он твердо решил отныне связать со своим прошлым. Осиротевший сын, внук, брат ничуть не сомневался в этой твердости. И вот Густав стоял среди косых ржавых крестов и полупровалившихся надгробных плит. Стоял перед последним пристанищем Клары, с трудом понимая, что здесь в земле лежит его бабка, его Клара, а ведь он так ее боялся, боялся всегда, даже когда она испустила дух, без криков мольбы и проклятий, неожиданно для всех, спокойно... Густав открывает дверь и видит: она умерла – рука свисает к полу, глаза открыты, угроза не светится в них, так кажется ему. Каменный дом в трауре. Вся мебель и зеркала, и без того черные, увешаны черным бархатом. Говорят только шепотом. И кричат тоже шепотом. Все ждут. Но Клару увезут только на третий день. Старуха лежит в новой жесткой постели, и, кажется, ей удобно и мягко; она даже не чувствует, что на нее смотрят. В последний раз она укутана воздухом своей комнаты, в последний раз она хозяйка своего дома, в последний раз она напоминает о себе. Блаженство власти – в последний раз. Все стоят крупгом. Не по отдельности, вместе. Недолгие, скупые похороны... Густав был первым, кто видел Клару мертвой, он был последним, кто стоял у ее могилы. Никто другой больше сюда не придет, не бросит ей в ноги случайный взгляд скорби, не скажет: «Я – кусок твоей плоти», не обронит случайной слезы. Никто. Никогда. Клара забыта.

III

Строго вытянутая ватная строчка реактивного самолета растворялась в синем цвете; она уже не была похожа на бельевую веревку, высоко поднятую в небо, да и белья на ней не было. Линия связи между небольшими разрозненными облаками больше не существовала, и они продолжали свое унылое, замедленное плавание в бесконечно запутанном броуновском движении. Птиц не было. Пытались каркать лишь черные живучие вороны, изредка перепрыгивая с места на место, им не было жарко и они не искали спасения от послеобеденного весеннего пекла. Это были заводные механические чучела, собранные на скорую руку, назло человеку, лоснящиеся, смазанные жиром, от жадности уже давно сожравшие себя изнутри. Даже не верилось, что у этих пухлых насекомых-животных есть крылья. Далекий раскатистый рокот прекратился, и стало, как прежде, тихо на сухой земле, среди запыленных деревьев,

над выложенными горячим камнем тропинками. Вороны переглядывались между собой и делали это важно, уверенно; проходивший мимо человек их не пугал, они не чувствовали в нем презрения и тем более опасности, крепкими лапами утверждая свое присутствие. Десятки омерзительных штампованных миниатюр – монумент мерзости.

Слух опять зафиксировал приближение самолета, но голова устала смотреть вверх. Густав встал с нагретой скамейки и начал поспешно сметать пыль с гранитной плиты: 19...5 – 19...8, на месте фотографии Стефана – кривая рытвина. Огрызок старого веника рассеивал пыль во все стороны, но мусор собирал по-хозяйски, в одном месте, превращая этот могильный садик в почти уютный. «Нужно куда-то деть сетку, мешает», – мелькнуло в мыслях, – и авоська с бутылками, огурцами, хлебом, рассадой сиренево-желтых анютиных глазок перестала болтаться в левой руке Густава, повиснув на железной ограде. Веник продолжал бороться со скомканными клочьями газет, неизвестно откуда взявшейся яичной скорлупой, засохшими листьями, травой. Напоминавший повседневную покупку, завернутый в целлофан мусор, лежал под столом, так никогда и не выкрашенным, стало чище, наступило время высаживать цветы.

– А эти собаки не простые... Это королевские псы... Нет, они костей не грызут... Только мясо... – Вздрогнув, Густав обернулся и увидел приземистую, неуклюжую, по голосу, мужскую фигуру в солдатском галифе. – Только мясо... И никакого хлеба... Голубая кровь... Из Ваших рук они кусок не возьмут... Отравить их не сможете... Смотрите, смотрите, какая осанка... Благородство... Никакой похоти...

Было трудно понять, о каких псах идет речь, пока из-за соседней красно-маковой могилы не появились две совершенно никчемные, ободранные, но откормленные старые суки, лишенные не только чувства собачьего достоинства – породы вообще. Они плелись к своему благодетелю, безвольно мотая головами, поджав хвосты-хрящи, с обожженными слезящимися глазами, вслепую. При виде своих старших сестер вороны торжественно оживились, чинно закаркали, в сердечном приветствии одна из них даже взмахнула крыльями, как канатоходец, боясь потерять равновесие, но цепкие лапы так и не оторвались от земли. Собачья независимость, не испытывая конкуренции, ползла по главной кладбищенской тропе, равнодушно принимая стороннее одобрение. Густаву хотелось возразить, что этих четвероногих существ он и не собирался кормить, но, испугавшись, что неожиданный монолог может перейти в длительную беседу или спор, лишь промямлил себе под нос «да, конечно».

– Солнце сегодня такое сильное, как огонь... Давно такой весны не было... Палит, палит... Но сегодня последний день... Холода возвращаются...

– ...

– Вчера троих схоронил... Эту неделю одних мужиков привозят... Самых разных, на выбор... Да, одна старуха была, в семьдесят лет повесилась... Ха-ха-ха-ха-ха... Сумасшедшая... Старик-сосед ее оплакивал... Артистка... В театре когда-то играла... Главные роли... Правда-правда, в том углу ее могила, рядом с утопленниками... Я Вам ее покажу...

Ртутный столбик настроения окончательно сорвался в пропасть, пылающий воздух стал более тяжелым, душным, неподвижным, сосущая боль в левой части грудной клетки аритмично, наскоками давала о себе знать. Человек без имени и комплексов судорожно жестикулировал накрахмаленными руками, захлебываясь в нервном возбуждении. Шелковистая паутина волос, давно уже забывших о расческе и ножницах, обрамляла лицо невесомыми, парящими прядями, придавая ему явно нездешний вид. Перламутровые, необычного рисунка губы, тонкие, как проволока; изящный, с горбинкой, нос с несколько расширенными ноздрями и торчащими из них седыми колючками; влажный блеск жирной пористой кожи. Простуженный голос метался между странным оживлением и унынием, дрожь нерешительности чередовалась с мнимой уверенностью еврейского тона – отрывистого, резкого, не терпевшего возражений. Грубоватая, размеренная манера говорить зачастую сменялась жалкими певучими модуляциями, какие бывают у отъявленного наркомана после крепкой дозы кокаина, в минуты отчаяния и невосполнимого бессилия.

– Посмотрите им в лицо... Не бойтесь... Они чувствуют доброту... Мои псы любят Вас... И никогда на Вас не залают... Они всех людей любят... Можно у них спросить... Правда-правда... Они не обманывают... Честные существа... И Вас не обманут... Они знают, что такое стыд и потому такие стеснительные... У них все, как у нас, у людей... Они умные... Смелые... Я с ними хоть в атаку...

Густав закурил сигарету.

– Собак моих не обижайте...

– Не беспокойтесь, не обижу.

– Они у меня замечательные... Только не прогоняйте их... Они Вас всегда защитят...

– Все будет нормально.

– Завтра пойдет дождь... И целую неделю будет лить... Смотрите, не простудитесь... Похолодание будет резким... Не заболейте... – В искреннем пожелании незнакомец оголил редкозубые багровые десны и, по-солдатски размахивая руками, удалился прочь.

Взяв сухую заостренную ветку, Густав без энтузиазма начал рыть лунки. Проходя утром мимо цветочного ларька, он купил маленькие анютины глазки, сиреневые, желтые, с редкими черными родинками на лепестках. Сейчас они лежали рядом с могилой, под мокрой газетой, в обморочном состоянии, упрятанные волосками-корнями в жидкие куски грязи. Ему с детства были неприятны эти цветы, но сегодня других цветов в ларьке не оказалось, поэтому ямки-

могилки неосознанно получались чересчур глубокими, и каждый раз приходилось досыпать землю. Вороны, до сих пор ехидно наблюдавшие за посадочной возней, вдруг в панике дружно запрыгали, поднялись в воздух, не без труда добираясь до ближайших веток. Писклявый лай неизвестно откуда взявшейся маленькой домашней псинки взорвался... и заглох. Величиной со среднего размера ботинок, она просунула морду между прутьев железной ограды и принялась пристально изучать реакцию Густава, вытаращив свои анютины глазки, оскалив остренькие белые зубки, вынюхивая ссору. Земляной ком в руке и красное полотно маков, ее не остановили, псинка уверенно проскользнула сквозь решетку и, перепутав человека с воронами, осквернила тишину не совсем соответствующей ее размеру злобой. Твердо став на ноги, Густав не выдержал и что было силы швырнул в нее веник. Промаяхнул. Но, видимо, почувствовав всю предполагаемую силу удара, поджав то место, где должен быть хвост, она с визгом вылетела в открытую калитку, даже его не хлопнув.

Работа продолжалась, геометрически правильный прямоугольник постепенно становился сиренево-желтым, все меньше в нем оставалось пересохшего земляного цвета, и вот последний цветок завершил композицию.

Густав достал из кармана надушенный носовой платок, дважды плюнул и, насколько это возможно, вытер руки: не столько от грязи, сколько от цветочной пыльцы. На столе появились вино, огурец, хлеб, яблоко, овечий сыр, зелень.

Вылив первый стакан вина на могилу, он ел неторопливо и пил размеренно, как полагается. Аппетита не было, хотя яблоко он съел сразу, чтобы не так быстро опьянеть. Солнце покидало кладбище, густой вечер наступал на пятки жаркому дню.

Очередной стакан равновесия не нарушил. Безразличие одолело полностью, но дышалось свободнее: кладбище уже не казалось столь удручающим, попадавшие в радиус раскрепощенного воображения могилы, в конце концов, даже абстрактно, перестали напоминать о неизбежности земного бытия. Соседние маки ближе к вечеру почернели, спрятав глубоко в себя горькую печаль, искренний траур и только с восходом солнца они вновь заявят горящей кровью о еще теплой памяти. Перепуганные вороны больше не появлялись, все по кругу проваливалось в трещину сна, лишь анютины глазки бодрствовали, беспокоили, будоражили, раздражали; нет, они не напоминали о смерти, но смотрели осуждающе. Это были не глазки – сиренево-желтые глаза, перископы-шпионы; сколько в них было фальшивой скромности, поддельного сострадания. Легкий ветер принес по конвейеру немного свежести; и опять... незнакомца.

– Вот, – с отбитым горлышком графин возник на столе, – холодная...

Густав поперхнулся. С трудом прокашливаясь, словно отмахиваясь от мух или комаров. Сотрясаясь от неожиданности, он неопределенным жестом предложил сесть рядом с собой.

– Когда Вы уйдете, я полью Ваши цветы... Но если хотите пить, пейте... Она вкусная... Из самого родника...

– Вы лучше выпейте со мной за упокой души.

– Нет-нет... Я с Вами пить не буду... Когда Вы уйдете, я с ним и выпью... С ним и поговорю... О покое всех душ... Они здесь меня любят... Кто еще будет с ними разговаривать по ночам... Кроме меня... Я даже знаю их тайны... И даже любовные... Они все со мной откровенны... Врать некому... Ведь им тоже скучно... Тоскливо... А я им как родственник... Ро-о-та, смирно!!! И они все передо мной... И наивные, и «старика», и пленные, и...

Луна бесчувственно освещала таявшую связь. Мысли уже не разбирались. Слова тем более. Лишь отдельные звуки с трудом покрывали увеличивающееся расстояние. Густав безвозвратно уходил в себя – прости меня, Стефан.

IV

Густав – в баре. Все тот же, но уже совсем состарившийся хозяин, наливал вино и водку. Бар изменился. В нем стояли квадратные столики. Теперь здесь пили, закусывали только сидя. Густав выбрал место с краю, за стойкой, ему захотелось водки, он заказал. Короткометражный фильм, и он в нем – главный герой. Всего один прожектор. Всего один сеанс. Всего один зритель. Посетителей набивалось все больше. Они шли сюда пить, пустые бутылки быстро убирались и сразу появлялись новые. Вино, водка безотказно смешивались с блудливой страстью. Кто-то кричал. Кто-то завывал тоскливые песни. За задним столом играли в карты. Подвыпившие глаза внимательно следили за звонкими блестящими монетами, переходящими из рук в руки, видели, как эти руки ждут, медлят, хватают, скользят по исцарапанной поверхности, отсчитывают, переживают изматывающие сцены удач и оскорблений. Густав видел эти лица – изломанные, отравленные азартом, жадной раздавией соперника. Густав слышал терпкую брань игроков, привычные непристойности шлюх, злобу врагов, ему хотелось пить, и он заказывал водки еще и еще. Циркуль воображения вычерчивал круг за кругом. Рядом сел парень в зеленой рубашке и черных брюках. Длинная тонкая рука возникла на стойке серебряными браслетами, потянулась за стаканом сока, обхватила его выбеленными пальцами, поднесла к губам. Густав решил закурить и попросил у бармена сигарету, но в баре сигарет не было, тогда он обратился к своему юному соседу – тот не курил. Замедленное действие. Стоп-кадр. Коллективный «Портрет в интерьере». Густав угрюмо взглянул на пустую бутылку. Деньги кончились. Но на одну игру, может, наскребет. Готов ли он сыграть с

теми, кто вызывал отвращение? Готов ли закатать рукава до локтей и рискнуть ради нескольких рюмок? Нет. Никогда. С ними? Нет. Густав позвонил бармена, попросил у него взаймы до утра, но лысая, перетянутая серыми морщинами голова, лишь отрицательно покачулась. Сосед слева, услышав разговор с барменом, заказал бутылку водки и протянул ее Густаву. Густав удивился, однако водку взял без замешательства, поблагодарил, с жадностью допил остатки, налил новый полный стакан, затем вновь удивленно посмотрел на соседа и выпил за его здоровье.

Ролик крутит назад...

Маковые кумачи кладбища. Собаки. Собаки. Собаки. Воронье карканье. Веник и надгробная плита. Стефан...

Однозначно пьян. Густав ничего не понимал, в голове – шум. Но прикосновение чужой руки заставило его прийти в себя, напрячься. Браслеты лежали на его колене, выплескивая из себя помутневшие брызги. Густав вздрогнул – и прозрачная водка растеклась по стойке, впиваясь в кожу рук, разъедая оголенные нервы. Тот же противный женский голос, который до сих пор тянул песни, прервал жалобный «концерт» и перешел в открытую брань и сквернь. Кто-то ударил Густава в спину, кто-то схватил за рукав и потянул; пошатнувшаяся стойка оторвалась от тела, после чего наждачный холодный пол стал царапать лоб и щеки. Удары посыпались один за другим, точеные каблучки и тупые носки уже не щадили добычу, и ничто не могло удержать натиск разбушевавшейся крови. Появившись черной россыпью, в конце концов, она хлынула, как вода из сорванного крана. «Короткий метр» мелкого ужаса и дурного вкуса. Крупный план. Рапидная съемка. Операторское мастерство. Глаза Густава – камера. Он бился изо всех сил, беспомощно укрывался от чужой обуви, смягчая удары. Яркие следы от его измазанных в крови пальцев превращали бесчисленные дергающиеся волосатые ноги в руки мясника.

Густав терпел.

Густав терпел поражение.

И впервые в жизни не находил ему объяснения.

Он ненавидел всех, он был способен на убийство, ему хотелось убивать, за то, что они изуродовали его день, смертельно ранили его душу, обидели его Стефана.

Густава мутило.

Но сил добраться до вокзала хватило.

Моросил мелкий холодный-горячий дождь. Было промозгло, липко, невыносимо. Приближаясь к платформе, он остановился под большими массивными часами. 22.30. Обернулся, поднял воротник пиджака и, съежившись, сделал первый неуверенный шаг. Еще один. Еще. И вот их уже много, и сосчитать их нельзя. До отхода поезда оставалось пятнадцать минут.

Он был маленькой точкой над недосыгаемым горизонтом, которая не приближалась и не увеличивалась, и только когда солнце оставалось у Него за спиной, вечность временно отступала, оживавшее лицо делало Его видимым на многие сотни километров. Все ослеплялось этим светом, и не было силы, которая могла его погасить.

Первая ночь не сдавшегося пленного города. Взрывная волна далеких и близких сражений отбросила его, оставила там, по ту сторону линии фронта. Самолеты бомбили уже другие города, артиллерийские залпы заглохли, слышались лишь редкие автоматные очереди и вопли. Вопли, проклятия, плач. Город принесли в жертву, он выбыл из игры, сошел с шахматной доски войны, не проливая жалостливых слез по своей судьбе, превратился в полигон страха и шальных пуль. Сбежав с поля боя, они сухо щелкали в пустых улицах, переулках, подворотнях, искали добычу и, не найдя, впивались в каменные стены. Город расстался с войной, закутался в черную пелену ночи, затаившись в предсмертном ожидании грабежей и расстрелов. Первая ночь пленного города. Когда на лестничной площадке послышался угрожающий топот, Андрей, поджав ноги, сидел в углу широкой родительской кровати. Он ждал, ждал каждую секунду, что сейчас наступит его очередь, нужно будет взглянуть врагу в глаза, не испугаться, не показать, что испугался, доказать, что не испугался. Он ждал, слышал, слушал, как прикладами и ногами стучали в дверь соседней квартиры, как выбили замок, он ждал, считая удары... вздрогнул, но считать не перестал... и опять вздрогнул. Не убежал, не уехал со всеми, да и не хотел уехать, должен был дожидаться возвращения отца, не мог бросить могилу матери, не мог, не мог оставить дом. Позавчера весь день его искала тетка, уезжавшая последним эшелонам на восток, искали классная руководительница и директор школы, искал целый класс, так и не нашли. Не мог он обмануть отца, который воевал уже второй год и которому обещал стеречь дом. А письма с фронта? Они приходили только сюда. Не убежал.

Андрей ждал, когда откроется входная дверь. За стеной у соседей слышался молящий хриплый рев, небрежный выстрел унял его: не стало парализованной старухи Лизы, которую он не видел уже несколько лет. Что теперь будет с ее слабоумной внучкой Викой?

Может быть, и ее пристрелят как собаку. На этаже продолжала вдребезги биться посуда, пыхтели-кричали на грубом непонятном языке, скрежетала мебель – искали золото, у евреев всегда было золото. Ворвались и в сорок четвертую – напротив, но хозяйева выехали оттуда всей семьей еще месяц назад и все с собой вывезли. Настала очередь сорок шестой. Андрей ждал.

В дверь не стучали, хотели выбить одним ударом, но и он был лишним. Дверь распахнулась сразу, на пороге – четыре солдата в касках, внешне чем-то похожие на буржуинов, но страшнее и реальнее. Четыре выдрессированные овчарки, сорвавшиеся с цепи, готовые растерзать на куски все живое и неживое, рванулись в разные углы комнаты. Новые центурионы застыли в нетерпении.

– А что у нас здесь? – слышался приближающийся голос, – это, кажется, сорок шестая.

В двери показалась среднего роста стройная фигура немца с изломанным крестом на рукаве. Широко расставив ноги, он остановился.

– По-моему, что-то новое.

– Господин офицер, разрешите внести ясность, – отчеканило лицо в каске.

– Ну.

Каска с автоматом рванулись к кровати.

– Нет! Стоп! Не надо. Не спешите, Курт. Вы сегодня не совсем разборчивы. У нас еще много времени, к тому же и очень много работы, поберегли бы силы, впереди вся ночь и завтрашний день. А этот ребенок нам зла не причинит, я так думаю. Да и поживиться нам здесь особенно нечем. Вот...

Солдат отступил.

– Таких квартир на нашем пути будет достаточно. Вот что...

Солдат вернулся на свое место.

– Берегите ваших ребят, Курт, идите на четвертый этаж, а потом в соседний подъезд. По списку в этом доме должны жить еще две еврейские семьи, если не сбежали, а я вас догоню позже. Делайте все по своему усмотрению, но помните, чему я учил: не тратьте много сил, все с минимальными затратами, это в наших же интересах. Да, кстати, в эту квартиру, сорок шестую, без моего разрешения никому не входить. И сегодня, и впредь, пока мы будем в этом городе. Передайте это всем. Действуйте, Курт.

– Спасибо за доверие, господин офицер.

– Помните о моих указаниях и просьбе.

Андрей сидел ни живой, ни мертвый, боясь пошелохнуться, вздрогнуть, заплакать, обмотавшись тонким стеганым одеялом; испуганные глаза безотрывно следили за отливавшими черным блеском сапогами, а колючее их поскрипывание вонзалось в слух. Он не понял ни единого слова из всего чужого диалога, и тем более ему не было ясно, почему они ушли, так и не ударив его, не тронув ни единой вещи, спокойно закрыв за собой дверь, но самым странным было то,

что офицер остался и ходил сейчас по комнате, курил сигарету за сигаретой, изредка поглядывая на пианино, стоявшее у стены, и висевший в углу портрет матери в молодости. С лестницы доносилось сопливое завывание восьмилетней Вики, видимо, и до нее дошло, что бабка больше не позовет и не погладит ее по голове. Но никому не было до этого дела, у каждого было свое горе, которое принес он, этот, с крестами: важный, холеный, подтянутый. Андрей боялся поднять голову и посмотреть ему в лицо, боялся этого соприкосновения; кто знает, может быть, беда еще только приближалась и самое страшное еще впереди; нет, он будет следить за сапогами и ждать, ждать, когда офицер уйдет; нет, он не поднимет голову, не покажет, что боится, что ему страшно, что он беспомощен. Начинаясь новая война, его война, личная, в этой квартире, его квартире, квартире его отца, квартире его матери. Он не уступит, но как победить, выгнать, закрыть за ним дверь, остаться одному? Если бы отец мог себе представить, что сейчас его сын один на один с врагом, без оружия, у себя дома. «Сынок! Писать некогда, их танки совсем рядом. Каждую минуту может начаться новая атака. Стоять будем насмерть. В следующий раз напишу подробнее. Сходи на могилу матери. Будь умницей!» Сапоги продолжали вычерчивать диагонали из угла в угол. Нужно было ждать. Ждать и только ждать. За окном прогремел взрыв.

– Тебе страшно? – оборвал молчание офицер.

Детские пальцы еще глубже погрузились в выцветшую мякоть одеяла, зубы сжались крепче, до боли, страх смешался с удивлением, обрушившимся на сознание. Чужой заговорил, произнося слова с какой-то особенностью, но заговорил русскими словами, столь родными и понятными Андрею.

– Тебе страшно, я вижу. Тебе должно быть страшно. Когда стреляют и убивают, всегда страшно.

– ...

– А почему ты не уехал с родителями? Они тебя бросили? Хотя отец твой, наверное, на фронте. А мать? Офицер взял со стола тонкую, обернутую в мягкую бумагу тетрадь, подержал ее несколько секунд в руках и прочитал сделанную посередине надпись: тетрадь по русскому языку ученика 5 «А» класса средней школы N 6 Кузнецова Андрея.

– ...

– Значит, тебя зовут Андрей. Впрочем, это не имеет никакого значения... А кто у вас в семье музыкант? Такая гора нот может быть только в семье профессионала. Шуберт, Лист, Малер... Странно, но, в основном, немцы. А в нашей семье предпочитали Чайковского. Но, думаю, в этом доме его тоже любили. Его нельзя не любить... А это на портрете твоя мать? Интересно написан, со вкусом... Где она сейчас? Почему ты не с ней?.. Да, у нее хорошие руки, очень. Она профессиональный музыкант. Сколько ей здесь лет? Глаза, глаза... Горят... Где она сейчас?

– ...

– Я тебя спрашиваю, где она? Почему тебя бросила?.. Не заставляй меня на тебя кричать.

– ...

– Где мать?!!

– Умерла.

У стены он остановился, облокотившись на пианино, посмотрел на Андрея, легким движением руки попытался смахнуть с лица еще остававшуюся тревогу дня, злость и безразличие, невидимый налет усталости, небрежно извиняясь перед самим собой. Что заставило его задержаться в этой квартире, почему не ушел с остальными? Надоели рыдания и крики, выстрелы в затылок? Но ведь сегодня не последний день войны и, возможно, не последний месяц, даже год – бойня затянулась; сейчас он курит в неизвестно чьей квартире и смотрит на испуганного до смерти мальчика, для которого он захватчик и убийца. Да, он захватчик и убийца, потому что идет война, потому что грабят и убивают все, убивают всех, и он тоже, но и ему страшно, так же как этому ни в чем не повинному ребенку, только намного страшнее; убивать всегда страшнее, чем быть просто свидетелем смерти, страшно нажимать на спусковой крючок щедрой автоматной очереди в упор, страшно видеть раздробленную голову новорожденного, страшно наступать чистым сапогом в теплую лужу крови, такой же, как у тебя, красной. Страшно.

Хлопнула крышка пианино. Первый звук прогремел, постепенно сливаясь с последующими, поглощая необычную для себя неуверенность. Но уже через несколько аккордов он играл зло, страстно, хотя в каждом прикосновении к клавишам чувствовалась осторожность, играл и не верил, что это звучит его музыка, играл, ведя борьбу с самим собой, со всем, его окружавшим. Впервые за два с половиной года он сел за инструмент, пытаясь этим представившимся мгновением остановить ход времени, раздавленного сапогами, наполненного огнем и кровью, чтобы оно не ползло нескончаемыми месяцами, захлебываясь при переправе через реку, задыхаясь в засыпанном окопе, стора в чужом доме. Все всплыло на поверхность, все мысли, которые война обычно топила своей тяжелой массой, скрывала под развалинами, в руинах воспоминаний, разбрасывала меж изуродованных трупов и плавившегося железа, сейчас обретали очертания; все жестокости каждого дня, месяца, и прежние, которые он помнил все по отдельности, в деталях, и те, новые, что неожиданно открылись лишь в эту минуту, все они обступили его, молниеносно спаявшись в единое кровавое кольцо Сатурна, в мертвом свете невидимой паяльной лампы – совести, раскаленной добела.

Андрей узнал Чайковского. Ему был знаком этот романс, который когда-то играла мать, но он не помнил его точного названия, не пытался вспомнить. Черные сапоги нашли укрытие под пианино и теперь почти не шевелились, изредка лишь нажимая на педали инструмента. Сейчас взгляд больше беспокоили руки, выскакивавшие из-за черных плеч. Они были бесконечно длинными и, казалось, могут

дотянуться до любой вещи в комнате, смять ее, сломать, разбить окно и впустить новый холод в и без того холодную комнату или открыть дверь и вернуть тех, которые только что ушли, с оружием наготове. Это были крылья огромной черной птицы, взмахивавшие под музыку. А что, если в эту минуту офицер обернется и увидит, что за ним следят, догадается, что его представляют кровожадным зверем, хищником, и длинные руки дотянутся до него, повалят на пол и будут медленно царапать длинными ногтями, до крови?.. Что тогда?.. Лучше закрыть глаза, ничего не видеть и только ждать – это было единственным, что Андрей осознавал и на что был способен.

За Чайковским последовал другой этюд. Потом – третий. При этом имена авторов значения не имели. Каждый из них по-своему бросал вызов происходящему. Музыка вырывалась из стен комнаты, гремела на весь дом, раскатами неслась через всклокоченный город к потерявшим сознание полям сражений, пытаясь разбудить мертвых, напоминая о жизни еще живым, которых на рассвете поднимет залп снарядов, и они вновь ринутся в атаку, во имя совести и отечества, во имя совести отечества, совершенно забыв о своей собственной. Об этом предрассудке, истощенном и искалеченном, офицер вспомнил лишь сейчас, почувствовав как никогда, что он смертен, как все – по разные стороны окопов. Продолжая играть, он представлял себе лица убитых, которые не забывал, которые всегда следовали за ним, болтались где-то в его мозгу, хотя всех их он видел только раз и то, в большинстве случаев, мельком. Они проплывали перед ним, как полусонные рыбы в грязном омуте, в котором вместо водорослей произрастала колючая проволока, проплывали, иногда проталкиваясь к самой поверхности. Память беспокойно шарилась между этих рыбешек, которыми кишел пруд, и изредка вскидывала удочку.

Ночь тонула, задыхаясь в своей глубине. Офицер перестал играть, густое эхо последнего аккорда устало заполнило комнату, рука зависла в воздухе, и он боязливо обернулся.

Свет сгоравшего солнца обжигал глаза. Не было ни старой мебели, ни стен, ни дома, не было города и войны. Перед ним был Он, образ с одной из фресок Гирландайо во Флоренции, но только теперь реальный и живой. От резкой смены декораций перехватило дыхание. Где я?.. Что произошло?.. Нет-нет, это невозможно... И только окутанное нежным сном мальчишеское лицо успокаивало его. Впервые у него появилась возможность разглядеть это лицо внимательно, каждую черточку в отдельности. Офицер с трудом встал и сделал несколько шагов, подошел ближе. Сейчас он уже ощущал дыхание спящего, будто это дышал он сам, и никак не мог поверить, что видит его наяву. Взяв руку мальчика в свою, почувствовал тепло детской крови, большим пальцем нащупал пульс и начал медленно считать. В нем билось еще одно сердце.

Сколько времени он просидел на краю кровати, офицер не помнил. Ночная сирена за окном заставила его вернуться на войну. Он торопливо вытащил из кармана плитку пайкового шоколада и,

наконец, вспомнив свое имя, написал его на обертке красным карандашом крупными русскими буквами: Густав.

Утром Андрей открыл глаза и не понял, где находится, что произошло вчера: вроде бы дома и в то же время... Да, да, конечно, дома. Аккуратно сложенная одежда лежала на стуле возле кровати. Кто его раздел, кто был в квартире и когда ушел этот, в черном? Он совсем не помнил, когда уснул, музыку еще помнил, но что было дальше... А это что? Андрей развернул шоколад. Откуда он взялся? Действительно, хотелось есть, и он был очень кстати, но кто мог его принести?.. Он!!! Только он мог его оставить. Нет, нет-нет, он не дотронется, чужого ему не надо, его не купить, а вдруг он отравлен?.. Густав?! Что бы это значило? Может быть, это его имя? Да, видимо. Малера тоже звали Густавом. А если это не его имя? Густав... Густав Малер...

Топот марширующих слышался за окном. Чуткий музыкальный слух сразу уловил в нем что-то неладное, нечто гулкое и мертвенное, отсутствие жизни и упругости, он звучал бедой, ритмом счетчика взрывного механизма. Солдаты в чужой форме шли сомкнутым строем, маленькими группами, наподобие отрядов, но на довольно большом расстоянии, и шаги то замирали, то накатывали снова, порой заглушенные свирепым грохотом фургонов. Еще несколько дней назад Андрей со своими друзьями, которых в округе почему-то называли шпаной, носился по родной ему улице, а сегодня здесь уже был враг, враг народа, его друзей и отца, его личный. Репродуктор на телеграфном столбе уже не передавал сводок о поражениях и победах, о потерях в живой силе и технике, он грустно и молча созерцал бесконечное вражеское нашествие, хотя, возможно, уже завтра он опять начнет вещать о победах и поражениях, о потерях в живой силе и технике, но уже на другом языке. Прохожих на тротуарах не было, прохожими были немцы, бегавшие с автоматами и криками, одни отдавали какие-то команды, другие рвались их с воинской доблестью выполнять. Когда-то и он с выпиленной отцом деревянной винтовкой в руках изображал красных и белых, но теперь была война, рядом, огромная и сумбурная, с забытым началом, без видимого конца. Андрей вспомнил об отце. «Сынок! Писать нет времени. Нас должны перебросить. Каждый день похож на предыдущий. Все время идет дождь. Серый свитер, который связала мама, греет сейчас вдвойне. Через месяц будет три года, как ее нет с нами. Ухаживай за могилой, будь умницей. Береги себя.» Где сейчас отец, на каком фронте, наступает или окружен, получил ли последнее письмо, а вдруг он ранен и лежит в госпитале, как часто вспоминает о матери? Сколько было еще вопросов, и ни на один из них не было ответа. Нужно было лишь ждать, просто ждать, в этой комнате, у этого окна, с этими же мыслями.

На противоположной стороне улицы у хлебного магазина солдат с трудом удерживал двумя руками огромную немецкую овчарку. Собака рвалась к куску мяса, который бросили ей из проезжавшего мимо грузовика, но не могла дотянуться, и только когда

хозяин сжалился над ней и сделал два шага вправо, собачья ненасытность смогла вкусить свой трофей. Животное схватило кусок зубами, но не грызло его и не рвало, заносчиво вышагивало вокруг солдата, вызывая тем самым лютое негодование двух других собак, поднявших мятеж поодаль. Из подворотни приближалось холодное неодоушевленное завывание соседской Вики. Одной рукой она прижимала к себе дохлого котенка, а другой ковыряла в носу, то и дело очищая палец о замусоленное платице. Когда же в носу ничего не осталось, она стала вырывать ключья кошачьей шерсти и с наслаждением к ним принохиваться. Увидев солдата с овчаркой, девочка остановилась и медленно начала к ним подкрадываться; улыбаясь, она облизывала свои слюнявые, не по возрасту пухлые губы. Вытянутые железные челюсти, вцепившись в мясо, по-прежнему его не выпускали. Вдруг детская ручонка попыталась... и уже никакая естественная сила не могла сдержать звериную жадность. Теперь у собаки было два куска.

Напряжение стало невыносимым и взорвалось. Grimасы в касках прыгали перед глазами Андрея, менялись местами, чередовались с собачьим лаем, словно плавали в густой прозрачной жидкости. Сгустки черной крови ртутью раскатывались в пыли. Тошнило. «Почему враг медлит, почему не врывается? Я же беззащитен и беспомощен. Пусть и меня разорвут, превратят в нечто похожее, дряблое и бескостное. Только скорее.» Не зная, куда девать руки, Андрей начал тянуть себя за волосы. «Сволочи и убийцы. Но нет, я так легко не дамся. Я буду биться, защищаться.» Длинный старый охотничий нож вонзился в дверь, за ним плитка развернутого шоколада разлетелась в крошки. Оставалось одно спасение: бежать. Но куда? В лес? В поле? Андрея охватило отчаяние, он рухнул на кровать. Стало казаться, что куда бы он ни убежал, хоть на самый край света, враги повсюду найдут его, будто в нем сидит магнит, который их притягивает. «Они отыщут меня повсюду, эти голодные псы...»

Открылась входная дверь.

Пол в комнате заскрипел, застонал, откликаясь на каждый шаг. Стоял он: в униформе, со свертком в руках. Густав.

– Что случилось? Тебя кто-нибудь обидел?.. Здесь кто-нибудь был?..

– ...

– Я хочу, чтобы ты мне ответил.

– ...

– Ты видел, что произошло на улице? – Густав посмотрел в сторону окна, сделав упор на слове «улица».

– Сволочь!.. Убийца!..

– Успокойся... Понимаю, тебе страшно. Даже мне было не по себе, когда проходил мимо. Действительно, ужасно. Но чего только на войне не бывает. Солдат, говорят, не виноват, девочка сама полезла к собаке, когда та грызла кость...

– Убей меня!.. Убей!!! И убирайся вон. Я вас всех ненавижу. Сожрите меня, попробуйте...

– Перестань, Андрей...

Даже в этом приступе ярости было странно услышать собственное имя. Андрей зарыдал и уткнулся в подушку впервые он не соображал, что говорит и делает. Не имея понятия, что делать дальше.

– Не нужен мне твой шоколад... не нужен... я... я лучше умру с голоду... подохну...

Густав закурил сигарету и подошел к окну, но смотрел не на улицу, а поверх нее: просто нужно было куда-то смотреть.

– Мне сейчас трудно с тобой говорить... Ты считаешь меня виновным в смерти девочки... Да, я виноват и в этом, и в другом, во всем, что происходит вокруг... Конечно, виновен... Да, и я тоже.

После долгого молчания Густав, словно опомнившись, оторвался от окна, сел за инструмент и тихо заиграл что-то очень далекое.

Путь был длинным под тяжестью обжигавшего солнца, и нигде не было ни единого деревца или кустарника, чтобы укрыться хоть на несколько мгновений в тени, ни речки, ни лужи, чтобы на несколько глотков обмануть жажду, не было даже дороги – только песок, бугристая шершавая земля, пространство и пекло, и он между ними. Идти приходилось босиком, обувь вся износилась, одежда изорвалась, кожа от солнца почернела, ноги избились в кровь, новые раны засыпались на месте песком, чтобы не оставлять за собой кровавых следов, по которым можно было бы узнать этот путь. Сие неизведанное мучение дано только ему, и он пройдет его один, пройдет до самого конца, и только потом наступит ночь облегчения, ради которого он шел уже многие годы, и чем дальше он идет, тем больше убеждается в своей правоте и бескомпромиссности. Ведь видел же он Его уже несколько раз, видел издалека, а значит, увидит еще и, возможно, ближе, вдруг удастся протянуть руку и ощутить в ней другую ладонь. Удастся. Он в это верит и не останавливается для отдыха ни на секунду, его вера для него – единственная, священная ноша, и он несет ее с гордостью, как с гордостью явился на свет он сам, как с гордостью впервые произнес слово «я». Чувство голода всегда утолялось только усталостью, и он был сыт и счастлив, что ему не нужно обременять себя ножом, вилок и тарелкой, лишними движениями челюстей: у него не было отвращения к той «пище», которую он принимал, и это было залогом физического здоровья, так необходимого в этом пути. Люди ему не встречались, может быть, они выбрали расстояние покороче или иной маршрут, неземной. Но вдруг, когда он придет, Он будет там уже не один, он опоздает, и никто его не поймет, а лишь пожалеют, как проигравшего. Эта жадность обладания, желание опередить всех, достичь цели первым, быть с Ним навсегда и остаться единственным, подчиняли все его способности и

характер одному – исключительной выносливости. Пот был влагой, которой можно было умыться, губы, обескровленные ветром, пропитались солью, руки, хоть и свисали параллельно телу без признаков жизни, всегда были готовы к защите от любого врага, однако в этой вечной Сахаре их было только два – пустота и отсутствие времени. До сих пор он принадлежал только самому себе, но, посягнув на Путь, он захотел жить и для Него, быть Его рабом и Его силой, чтобы страдать вместе... И вот на горизонте появилась маленькая точка, она совсем недолго будет оставаться на месте, но если пойти чуть быстрее, еще быстрее, то солнце повиснет за Его спиной, и он опять увидит Его, лицо и фигуру в полный рост. Все это продлится мгновение, и ради этого стоит спешить...

– Трудно солдату быть человеком... – Густав обернулся и посмотрел на Андрея, оставив руки лежать на клавишах. – Я рад, что ты уже не плачешь... Гений Шуберта всегда успокаивает. Не правда ли?.. Сколько тебе лет?

– ...

– Мне тридцать пять, а тебе?

– Двенадцать.

– А отцу?

– Неделю назад исполнилось сорок.

– Он тоже музыкант?

– Нет, архитектор.

– А на фронте уже давно?

– С июля.

– И ты все это время один?

– Ко мне раньше заходила тетя Клава, сестра моей матери, приносила еду, иногда стирала, немного играла. А два дня назад со всем эшеломом ее семья уехала на восток.

– А она музыкант?

– Да... Когда мама еще была жива, они часто играли в четыре руки. Ну, потом так получилось, что она появлялась все реже и реже. Тетя Клава не очень любила моего отца и старалась приходить, когда его не было дома.

– Возьми это яблоко, – помолчав, Густав вытащил из кармана большое желтое яблоко и протянул его Андрею. – Я очень хочу, чтобы ты его съел. Не пугайся, оно не немецкое, оно русское, твое, русское. Я принес его тебе... Возьми...

Андрей был в смятении, совершенно не зная, как себя вести, как поступить с яблоком: взять его от врага или отказаться. Одна рука сдерживала другую, боясь, что вдруг какая-нибудь из них не выдержит и примет дар на себя. Хотя сейчас он вспомнил, что не ел уже больше суток, идти на риск сближения было нельзя. «Я и так уже много сказал. Кому? Врагу и убийце». Но времени на размышление не было, нужно было отвечать, и Андрей поднял голову, протянув вместо руки взгляд.

Это были обыкновенные глаза, какие он встречал часто: на улице, в школе, на концертах. Обыкновенные, если бы не свастика и униформа, если бы не смерть Вики, если бы не выстрелы и война...

Андрей протянул руку.

Вот он, солдат, герой мифического рейха, покоритель придуманной арийцами вселенной, внушающий страх всему; вот он, благородный даритель цивилизации, непревзойденный в силе и чести. Да, было много убито, ограблено, ранено и повешено, этого требовали фюрер и время, но не все было по его воле, его подчинил фронт. Но он старался оставаться верным себе хотя бы в одном – давать, давать всем и все; давая собаке, потерявшей хозяина, последнюю воду из фляги, раздавая награбленное солдатам, нате, возьмите, он чувствовал себя выше сытости, ему не нужно было чужого быта, так же как, впрочем, и своего, ему достаточно было себя. Себя. Только себя. Доброта, проросшая из глубин собственного «я». Густав сидел напротив пленного свободного подростка и смотрел на Андрея, грызущего яблоко. Было ли все это у него в мыслях сейчас? Думал ли он о себе? Ему казалось, что нет, что в этот момент он не жлет, просто хотелось чуть-чуть ослабить чувство чужого голода. Но разбросанный по комнате шоколад... Своими осколками он ранил больше, чем первая разорвавшаяся мина, больше, чем месяц полевого госпиталя. Не принять от него, от его сердца... Так казалось ему.

– Мне тоже хочется, чтобы война скорее закончилась. Но приходится ждать, как и во всем другом.

– ...

– И ты опять увидишь отца... Она ведь все равно закончится.

– ...

– Закончится.

– ...

– А у меня отец умер уже восемь лет назад, от туберкулеза, через четыре дня после своего пятидесятилетия. Хотя последние полгода он почти не вставал, мы с матерью и братом все-таки верили в то, что он выздоровеет. Но врачи оказались правы...

– ...

– Вильгельм фон Лаутербах.

– ...

– Вильгельм фон Лаутербах... Мы жили недалеко от Берлина, до города на машине добирались двадцать минут. Отец не был профессиональным пианистом, но всю свою жизнь посвятил музыке. Он играл в день иногда пять, а то и шесть часов. Может быть, у нас с братом никогда не было друзей, потому что мы редко выходили из дома, слушая все, что играл отец. Забывали об уроках, но за посредственную учебу родители нас не ругали, они воспитали нас чуть иначе, отдав нам свою музыку...

– ...

– Это продолжение Шуберта. Экспромт оп. 90 № 2 ми бемоль мажор. Пусть под него тебе будет легче.

Он спешит, спотыкается, торопится, через бугры, протягивает руки к горизонту, догоняет солнце, только бы успеть, поймать, уловить, продлить взгляд, которого еще не было, но который может блеснуть в любую секунду. Прерывистые шаги, граница между вдохом и шагом, ощущение невесомости, импульс к новому шагу – выдох, перебой... Кривая, отбирающая все силы, а если она замкнута? В венах жидкая соль, разъедает стенки сосудов, каждое ядро, клетку, нерв, тупым лезвием бритвы врезается в мякоть, судорога, врезается вновь, судорога не отступает, растекается по всему телу, заботливо обнимая каждую косточку, сухожилие, мышцу. Расклад на составные. Мысли стреляют в затылок и не промахиваются, мозг жжет, длинными языками вбивает колья между мозгом и плотью, мозг заражается болью, два полушария боли, она кипит в черном котле, кипит, изредка выплескивая последнюю жажду – владеть... Он спешит, спотыкается, торопится, у него мало времени, а если это последний шанс, последняя возможность, не воспользоваться – значит предать себя, предать Его. Идти тяжело, тяжел каждый метр, каждый удар пульса, каждый прилив крови, все подчинено только ходьбе, но каждая секунда приближения дарит надежду обрести, да, конечно, потом опять потерять... А если нет... А если то, к чему он так долго брел, и есть смысл всего...

Густав пришел в себя, оказавшись к пианино спиной. Он не подозревал, что сидел так почти час и не играл, дослушав Шуберта в голове.

– Извини, я немного забылся.

– ...

– Мне просто приснился сон. Да-да, самый настоящий. Многие солдаты видят сны с открытыми глазами. Война учит слышать и видеть по-другому. Это был хороший сон. Очень хороший. Возможно, только спустя длительное время я смогу его оценить. Хотя не знаю, может быть, раньше, может быть, намного раньше... Яблоко тебе понравилось?

– Да, спасибо.

– Здесь в пакете я принес тебе немного колбасы, съешь ее. Я же знаю, что ты ничего не ел... Нет-нет-нет. Я тебе не даю. Просто возьми и съешь.

– Вы не доиграли Шуберта.

– Ты успокоился и стал называть меня на Вы... Да, я сейчас доиграю. Пианисты очень редко играют эту вещь. Я слышал ее только в исполнении отца.

Андрей слушал Экспромт № 2 и жевал колбасу вперемешку со страхом. Если бы сейчас кто-нибудь из своих подсматривал и видел, как он смакует вражеское мясо, никогда бы ему этого не простил, более того, рассказал бы в школе, на улице, отцу, да, главное, отцу,

который каждую минуту мог погибнуть от руки вот такого, как этот. «Нет!»

Андрей поперхнулся.

– Спасибо, я поел, больше не хочу.

– Не пугайся, эта колбаса тоже не немецкая, она – польская.

– Я действительно наелся.

– А кто тебе дома готовил?

– Я сам, иногда помогал папа или тетя Клава.

– Еще до войны, дома, в Германии я многие сны записывал.

После завтрака, когда отец сел за инструмент, я брал толстую тетрадь, которую хранил в своей комнате под подушкой, и под музыку вспоминал все интересное, что мне приснилось ночью. Это было так давно, я был младше тебя. Брат сначала надо мной смеялся, а потом сам стал заниматься тем же. Он был старше меня на три года.

– А где он сейчас?

– Хельмута отправили в Польшу сразу, как только наши войска вступили в Бреслау. Там мало погибло немцев, но среди них мой брат. Мать долго страдала и всякий раз, когда меня видела, я еще тогда был в Берлине, рыдала. Я у нее остался единственным близким человеком... А когда я не ладил с начальством и меня послали на фронт – тогда началась война с Россией – при нашей последней встрече она мне сказала: «Чувствую, что мы больше не увидимся». Но я в это не верю, не хочу верить. Я не могу оставить больную мать одну. У нее плохо с сердцем. Если меня убьют, она этого уже не вынесет... Как видишь, не только одному тебе плохо.

– Я...

– Нет, не надо сейчас ничего говорить.

Андрей и не знал, что толком хотел сказать, не знал, как это выразить. При чем здесь был его немецкий дом, при чем здесь он сам, его отец? При чем???

– Давай поговорим о другом.

– ...

– Давай!.. – Густав от души просил, будто стоял на коленях.

– ...

– Тебя, наверное, удивляет, что я так хорошо говорю по-русски.

У меня есть небольшой акцент, но даже русские пленные думали, что я родом из России. В двенадцатом году отец взял в дом русскую служанку. С родителями она говорила по-немецки, а нам с братом разрешили учить русский. Мне это занятие настолько нравилось, что даже бывали дни, когда я не произносил ни единого слова на родном языке. Елизавета нам читала стихи, рассказывала сказки и разные истории, она была довольно грамотная, способная женщина. И уже через год жизни у нас говорила по-немецки почти без акцента, хотя значения некоторых фраз еще не понимала. Она привезла с собой в Германию много русских книг, и по ночам мы с братом их с упоением читали. Насколько было интересно сравнивать Новалиса, Гете, Лермонтова, Жуковского сразу на двух языках! А потом, когда в

России закончилась революция, Елизавета уехала к себе в Петербург, и больше мы ее никогда не видели. Как мне хотелось все эти годы ее встретить и сказать: дорогая моя Лизавета, «не хулите эту любовь, она благодатна и плодотворна...» – вот кто бы меня понял. В то время в Германии было много эмигрантов, и отец опять взял в дом русскую служанку. Осенью двадцать третьего года наша семья отдыхала в Италии, отец был там на лечении, и мы познакомились с одним русским художником. Фамилию его я сейчас не помню, но многие гости, бывавшие у нас в гостинице, думали, что я его сын, настолько свободно я уже владел русским...

– А как звали вторую служанку?

– Екатерина Матвеевна, она до сих пор живет с нами, ей в декабре исполнится пятьдесят. Ты читал что-нибудь из немецких писателей?

– Только «Крошку Цахес».

– Прекрасно, ха-ха-ха-ха... прекрасно, – до сих пор бледные щеки слегка порозовели, – как давно я не смеялся.

– Что здесь смешного? – спросил обиженно Андрей, злясь на свое признание.

– Нет-нет, совершенно ничего, напротив, прекрасно, что ты начал с Гофмана.

Густаву показалось, что в квартире жарко. Он снял китель, бросил его на стол и присел на корточки посреди комнаты. Смех поднял температуру его тела, участил пульс, разоружил память. Но надолго ли?

Офицер улыбался между пианино и кроватью. Обыкновенные глаза превращали его в обыкновенного человека, сейчас, без кителя, когда не было видно черного галифе и сапог, без электрического света, при догоравшей свече.

– Ты меня очень боишься?

– Уже меньше.

– Ничего. Придет время, и мы станем друзьями.

– Это невозможно, по...

– Давай я увезу тебя в Германию. Подожди, не перебивай меня. Там ты будешь жить... Как тебе нравится, у тебя будет все. Дом у меня большой, библиотека, ты сможешь читать, играть, слушать, что тебе захочется. Моя мать примет тебя как сына. С Катериной будешь говорить по-русски.

– Нет-нет...

– Потом закончится война, я вернусь с фронта, домой, ты подрастешь.

– Нет, – голос Андрея дрожал.

– Время бежит быстро, ты привыкнешь, дом станет тебе родным, сядешь за инструмент моего отца. У тебя не будет забот. Ты должен согласиться, сказать «да», я же не могу увезти тебя насильно. Подумай.

Ничего не обещавшее молчание для Густава было надеждой.

– Ты не должен пропасть. Я не могу дать тебе пропасть. Понимаю, ты думаешь о матери, об отце, но на войне все может случиться...

– Отец вернется.

– Никто ничего не знает. Нельзя обречать жизнь на волю случая. У тебя должно быть будущее. Надо уметь предвидеть...

– Отец вернется.

– Я не могу тебе его заменить, но...

– Вернется.

– Не спеши... Не спеши... Я тебе не враг...

Панические крики на улице подняли Густава на ноги, заброшенный китель снова обрел свое тело. «Я вернусь», – хлопнула дверь.

Что ему от меня нужно, зачем мне его забота, здесь мать, есть отец, мой дом, он враг и убийца, пусть не возвращается, я никуда не поеду, меня не купить, я не предатель, уехать в Германию!? Сумасшедший! Если об этом узнает отец... его музыка мне не нужна... пусть лучше его убьют, чтоб не убивал других... жалко, отец далеко... Что бы придумать? Как избавиться от него? Сколько еще ждать?

Андрей искал решение, теряясь и путаясь в незнакомой ему ситуации, как когда-то давно блуждал в переулках чужого города, тогда отыскал его отец, теперь же помощи ждать было не от кого.

Предутренний туман прорастал из темноты измятой полосой застиранного бинта. Он там, внизу, среди своих, в поисках жертвы. Сквозь пелену слез видны только расплывчатые пятна, мечущиеся между стенами домов. Приклеенный к стеклу, Андрей долго наблюдал за ними.

Густав возвращался уверенно, но закрыть за собой дверь не успел – два внезапных выстрела из квартиры напротив остановили его. Рот передернулся затвором автомата, левая нога робко ступила вперед, сделав последний шаг в своей жизни.

Он лежит на земле у Его ног. Горячий ветер поднимает песок, и открывать глаза становится все труднее. Силы покидают тело, как все живое – тонущее судно. Примет ли Он их, нужны ли они Ему? Узнать Густав уже не успеет. Соль мгновенно высыхающих слез сковывает лицо, превращая его в маску. Которая застывает... А из этой жизни доносится звон монет. Приближаются почести и награды.

Спасибо Рихтеру.

1984

Если на этом пути тебе встретится могильный холм, задержишься. Мы не успели с тобой попрощаться.

В фазана я стрелял так остервенело, будто во всем был виноват именно он, этот пухлый фазан. Именно этот пухлый фазан. И мне не было его жалко. Нечеловеческая злоба и человеческое бессилие, смешавшись с недельным голодом, расстреляли гордую птицу в упор, растерзали жестоко, безжалостно вспоров набитое брюхо-подушку, подняв пестрый туман мертвого пуха и мертвых перьев. Я охотился за своей жертвой все утро, караулил, терпеливо прячась за деревьями, силой потопляя в себе неудержимые извержения фантазии, порождаемые слипшимся желудком, тщательно выискивая удобный случай для убийства. Глупый фазан не чувствовал опасности: что ему до чужого голода? инстинкт не подсказывал: перед тобой хищник! остановись! беги! – из морщин лиственной массы он вышел мне навстречу вразвалку, выпячивая лоснящуюся овальную грудь, вальяжно мотая головой. И вдруг... Испуганно взмахнув левым крылом, капризно вскрикнув, словно обиженный ребенок, подпрыгнул, и первый же выстрел поймал его. Птица опрокинулась навзничь, а я не мог остановиться и продолжал стрелять – без промахов, не жалея патронов, оскорбляя лес, натравливая на себя взбудораженную тишину и природу. Глаза вцепились в одну точку, не оторвать, зубы застучали чаще, автомат выпал из рук, а в голове сладостно клокотало: убил, убил, убил, убил. Внутри меня происходила передислокация инстинктов. Во мне рождался зверь – я смотрел на свою с небрежно растрепанным хвостом добычу, и обильная слюна наполняла рот. Мое!

Потерявшие свой цвет и райский блеск, слипшиеся в парной крови перья выдергивались с трудом, сопротивляясь, с обрывками еще живой кожи. Правый рукав не успевал вытирать со лба пот. Кривые лапы неожиданно задергались, выплескивая брызги из жидких ран. Я схватил их левой рукой, но они продолжали дергаться, вырываться, особенно яростно после каждого нового выдранныго клокка. Миниатюрная позолоченная головка, вспышками приоткрывая веки закатанных глаз, беспричинно шаркала по земле, и ей, казалось, не было никакого дела до своего корчившегося в последних судорогах тела. Она первой перестала возражать смерти. Голову нужно было чем-нибудь отрубить или отрезать, но чем? Ножа не было. Сбросив с плеч рюкзак, я принялся обшаривать густую траву в поисках подходящего камня. Лобное место тоже нашлось сразу: шея была довольно длинной и легко обвила тонкий ствол поваленной молодой березы. Крупный камень едва умещался на ладони, бить пришлось пирамидоострым углом, но скользкая изуродованная шея не сдавалась; тогда, резко

свернув мертвую голову, я рванул – не помогло, натянутые жилы-веревки упрямо не отпускали полуоголенную тушу. Что было силы я ударил камнем еще раз, еще, еще, и в этот момент что-то упругое оборвалось, лопнуло. Меня залило волной крови. В глазах покраснело. Это был цвет чужой крови. Чужой смерти. Смерть всегда мне казалась чужой. Я закрыл лицо обеими руками и начал протирать ослепшие глаза, даже не почувствовав, что руки тоже залиты этой кровью. Сколько раз мне уже приходилось сталкиваться с чужой смертью, но впервые я пытался искать в ней спасение, впервые в ней нуждался и ее жаждал, лишь впервые, сейчас, стоя на коленях, понял, что она красная, и всегда была красной. У нее действительно было лицо – вот оно, в моих руках, испачканное жиром и кровью. Мое – было тоже в крови. Красный запах забивал мои ноздри и мой рот. Приставучий липкий пух паутиной обволакивал щеки и шею, вкрадывался под воротник. Тошнило. Не хватало воздуха. Нужно было всего несколько глотков – предыдущего, чистого, дофазаньего. Но где его было взять? Никак не подбирались слова для проклятия. Проклинать нужно было себя. Температура сознания приближалась к точке самосожжения. Я превращался в маленькое сморщенное существо с лицом мумии, губы больше не шевелились, грудь сотрясали мелкие низковольтные конвульсии. Привстать с колен все же удалось, однако, сторбленного, меня качнуло, повело меж сосен, я неуклюжим рывком попытался схватиться за ближайший ствол, но тщетно: деревья брезгливо расступились. Никто не протягивал руки, никто не испытывал ко мне сострадания. Просеменя, спотыкаясь, несколько метров, обессиленное тело рухнуло на землю. Меня душили, не пытаясь признания. На горле затягивалась промасленная петля рвотных спазмов.

Не могу. Не-м-могу. Зачем я все это сделал? Даже нет спичек. Нет, не смогу. Никогда не смогу. Скорее бы сдохнуть. Здесь, рядом с этим несчастным фазаном. Только бы ничего не видеть. Не смогу. Острая трава резала лицо, колола глаза. Мозг, испуганный как по команде отовсюду засвиристовскими птицами, застыл. Я перевернул себя на спину. Незримые голосовые потоки перекликались друг с другом из своих потаенных дотов, а разная их сила и удаленность сообщали окружающему меня пространству перспективу и глубину. *П р о с т р а н с т в о*, дно *п р о с т р а н с т в а*, я – на дне: до чего же мерзка природа, и я – ее ничтожное животное. Долго шел, чтобы упасть. Не нашел, не потерял, не избежал. Шурша крыльями, одна из птиц перепрыгнула с кроны на крону, за ней броском последовала другая. Остывающая стрельба окончательно смешалась с лесными перестуками. Дятел с автоматом в руках спикировал вниз, где-то рядом притаился в окопе. Именно он сейчас внесет ясность. Осадное положение. Пощады не будет. Казнь на месте преступления. Месть и никакого помилования. Кадык вырывался наружу. Сгустки слюны и хрип переполняли глотку, вызывая издевательскую икоту. Нужно было себя поднять, но над головой висело слезоточивое, пугающее эхо.

Тяжелое, влажное, заполняя проемы между деревьями, оно существовало, обладало трупным запахом, давило в грудь, упиралось в лоб, заставляло лежать неподвижно, искажало зрение и слух, оно предлагало умереть, не предлагая выжить. Ни выбора, ни выхода. Было только бескислородное *п р о с т р а н с т в о*, было только гнилое дно. Приговоренный к вечности, я обреченно срастался с этим дном, а выгоревшие лоскуты безразличного августовского неба пренебрегали моими мутно-розовыми слезами.

Был ли это сон, обморок или репетиция смерти, не знаю. Но то, что человек смертен, может прийти в голову только живому. Я продолжал икать – значит жил, хотя и под страхом конца. Без облегчения, без надежды, без проблесков света истины. Пунктирная кривая моих следов, удлинявшаяся за эти дни с каждым часом, на глазах распалась. Все мысли перепутались. Мертвая точка. И никакого отсчета. Наверняка меня уже давно похоронили или сочли предателем. Зачем напросился идти в одиночку? Если бы не тот проклятый ливень, я добрался бы до ближайшей деревни засветло. Почему свернул с размытой тропы? Испугаться на войне грозы?! Теперь уже поздно, нужно все забыть. Я еще жив. Какой день был сегодня, как я потерял своих? Восьмой или девятый? Если девятый, то мой день рождения был сегодня, если восьмой, то завтра, девятнадцатого августа. Двадцать пять лет, минус три года войны, минус восемь дней голодного мира.

Солнце доползло до зенита гораздо быстрее, чем я до ближайшей поляны. Под левой лопаткой опять заныла едва зарубцевавшаяся рана, но руки не отпускали, казалось, во много раз потяжелевшие автомат и полупустой рюкзак. Сколько еще можно выдержать? Как вырваться из плена? Как не попасть в плен? Где свои, где враги? А если этот оскверненный круг замкнут? Веры не было, интуиция не нашептывала. Оставалось идти прямо и только прямо, туда, за солнцем. Ну должен закончиться этот лес, должен! Пернатая живность во главе с неугомонным дятлом продолжала меня истязать. О чем было их пение, я не знал, но был уверен, что они требовали мести за своего собрата, и желали мне смерти, мучительной смерти.

Рукой приподнимая подбородок, я смог увидеть перед собой небольшую лесной пруд.

Неужели не галлюцинация?

Впереди действительно была вода. Я не верил. Не верил себе, что наконец смогу смыть с лица и рук засохшую корку, не верил самой воде, что это была она. Наспех оплодотворенная призраком надежда. Нет, смерть меня еще не победила, она искусно лишь подготавливала решающее наступление, без пощады и оглядки, но еще не победила. Острая боль в желудке, ехидно поддакивая моей мысли, предательски пыталась расшевелить измотанное чувство голода. Шершавые, с заусеницами губы молили о влаге. Я вспомнил, что все эти дни не только не ел, но и почти не пил. Больше не в состоянии терпеть, лихорадочная жажда яростно вырвалась из моих объятий, начала меня

подгонять, бить прикладом в спину, грубо толкать – опережая меня, побежала вперед. Она первой добралась до берега и с выпученными, в трещинах, фарфоровыми глазами уставилась на меня: когда же я подойду? Я пытался в нее всмотреться, и томительные секунды раздирали пересохшее горло. Кто-то невидимый потянул меня за руку. Я оказался по колено в воде. Я хотел пить. Я пил.

Вода дышала мне в лицо, была живой, прозрачной. Ей не были знакомы взрывы и горе, соучастие в смерти. Нет, она не убежала от войны, не дезертировала, не спряталась в лесной глуши, она родилась здесь и здесь была, чистая, совсем-совсем чистая. Искалеченные и просто раненные не промывали в ней своих ран, не застирывали окровавлено-гнойных бинтов, не набирались несколькими жадными глотками свежей пенящейся злости, чтобы без передышки вновь рвануться навстречу своей запоздавшей гибели. Вода дышала мне в лицо. В этот момент стало по-настоящему спокойно, хотя и жарче под открытым небом. Поляна и пруд. Лес и птицы остались там, в пятидесяти шагах, в пятидесяти усталых шагах.

Я смотрел на себя в разглаженное от кругов водное зеркало и не узнавал своего темного лица. Темнотой была щетина, спрятавшая в густых острых колючках весь мой ужас и страх, стыд, в первую очередь, стыд, стыд за беспомощность. Как хорошо, что тень от моей головы падала на воду именно так, и не было видно моих глаз, обуглившись от ненависти зрачков, обреченно-загнанного взгляда, каким казался он мне изнутри. Эта тень – единственное, что осталось от меня, вернее, что я мог в себе отыскать и увидеть. Восемь обведенных в черную рамку дней – контур тени. Набрал в дрожащие ладони прохладной воды, я осторожно понес ее к берегу, словно небесный дар, с болью роняя по пути сверкающие бриллианты-капли. Если бы моя мать наблюдала сейчас за своим сыном! Видит бог, не хотел бы я причинить ей страданий.

Мамочка, только бы ты знала, как мне плохо, как мне стыдно. Прошли еще одни сутки, но совершенно ничего не изменилось. Даже погода не меняется. Лес меня совсем закружил. Признаков человека нет и близко. Голод уже почти не мучает, вот только слабость в ногах и постоянная тошнота. Все время хочется спать. Сегодня ночью опять тебя во сне видел. Ходишь ты перед рассветом по нашему двору и разбрасываешь из подкола землянику, словно сеешь. А двор наш огромный, конца бесконечного забора не видно, и вся земля усыпана крупными спелыми ягодами. Ты медленно уходишь далеко-далеко от дома, в сторону леса. Я кричу тебе, а ты меня не слышишь, потом неожиданно оборачиваешься, но не на мой голос. Ты чувствуешь, что дома что-то случилось, решаешь вернуться, но как пройти по усыпанной земле, чтобы не подавить землянику? Я тебя еле вижу, но твое растерянное лицо передо мной, тебе становится страшно, бугристое черное небо опускается еще ниже, поднимается сильный холодный ветер, коса расплетается. Я отчаянно машу руками, но от этого порывы ветра только усиливаются. Ты вспоминаешь, что забыла

запереть дверь дома. Нужно бежать. Но как? В обход не успеть. Ждать нельзя. Резкими движениями ты удерживаешь расплетающиеся волосы, а босые ноги уже давят сочные ягоды, поле превращается во множество маленьких ран, ты пытаешься перепрыгивать через эти лужи, но бесполезно: платье все забрызгано, ноги красные, как в крови. Меня не замечая, ты пробегаешь мимо, я начинаю плакать, но ты не слышишь, задыхаясь, вбегаешь в дом и начинаешь кого-то искать. Вся мебель перевернута, постельное белье скомкано, занавески с окон сорваны. Усыпанный битым стеклом пол превращается в мешанину красных следов. В дальней комнате под круглым столом сидит петух, тот самый, который в детстве меня клюнул в щеку. Ты начинаешь его прогонять, пинать ногой, а он ни с места, тогда ты отшвыриваешь его, и оказывается, что это всего лишь чучело того самого петуха. Но кто положил под него куриное яйцо? Откуда могло взяться яйцо? Ты берешь его в руку – оно треснуто. На ладонь вытекает почерневший белок. Твои глаза полны слез. Я, заикаясь, кричу: брось! но ты меня по-прежнему не слышишь, последними силами резко сжимаешь яйцо в кулаке. Сквозь сведенные судорогой пальцы проскальзывает черно-желтая жидкость.

Я держал в руках измятую фотографию матери и мысленно, без карандаша и бумаги, дописывал очередное письмо. Торчащая из обрывистого берега сухая коряга, на которой я устроился, была не совсем удобной, и, уже решив перебраться подальше от воды, на траву, я нечаянно оглянулся. Замах топора над головой. Гильотина! Костер! Виселица! Все одновременно. Посреди поляны, между мной и лесом, стоял фриц. С автоматом в руках. Просто стоял. Просто фриц. Этого не может быть. Откуда он взялся? Нет, не может быть. В этой глуши?! Во-первых, человек, во-вторых, фриц. Я схожу с ума. Невероятно! На веки навалился холод. Да, это действительно был фриц. Повернувшись лицом к озеру, я замер. Все кончено. До автомата не дотянусь, прикончит на месте. Оглядываться второй раз нельзя. Закрывать, скорее, закрыть глаза. Нельзя смотреть даже перед собой. Скуластый, надменный, с отвисшей челюстью, редкозубый, сытый, белесый, огромный, свекольными губами смакующий томатный сок рядом с повешенным, забивающий прикладом под кустом суку, смеющийся и стреляющий, убивающий, убивающий, убивающий. Нет-нет, так не выдержишь. Я открыл глаза. Сколько времени он за мной наблюдает? Почему он остановился? Чего он ждет? С автоматом в руках. А если он не один? Если в лесу есть еще кто-нибудь? Что делать? Неужели из этой ситуации смогу выкарабкаться? Откуда он взялся? За столько дней ни души и вот... Почему я не почувствовал взгляда раньше??? *Фриц за спиной*. Что может быть хуже? Раньше-позже – уже не имеет никакого смысла. Приближался крах. Застывший в гипсе искривленный позвоночник не выпрямится никогда. Ненависть, ненависть, ненависть... и ничего другого, кроме этого самого низменного из человеческих чувств. Ржавые швейные иглы вытягивали из-под почерневших ногтей не моливших об отсрочке рук

последние нити воли. Только бы не сдвинуться с места. Две огненные струйки кислоты медленно сползали по заостренным дугам бровей на виски, выжигая кожу. Только бы не шелохнуться. Только бы не закрыть глаза. Даже не перекреститься перед смертью. Над водой молнией блеснул солнечный луч. Это загорелся бикфордов шнур, кем-то подсоединенный к моей жизни.

Если сказать, что время тянулось, остановилось или исчезло, это значит не сказать ничего. Хотелось завывать. Завопить. Разорвать голосовые связки: стреляй же, наконец, стреляй. Но ведь пристрелит и все... Только бы не шелохнуться. Страх кричал. Нет, не страх, это кричал я, пытаюсь перекричать самого себя, перекричать весь лес, перекричать того самого дятла, что так злобно отстукивал на макушке ствола мою похоронку. *К р и к!!!* Как нужно было, чтобы именно сейчас кто-нибудь отозвался, согласился стать свидетелем моей смерти, в последний раз меня выслушал. Если найдутся слова... А их не было. Был нескончаемый крик-вопл. Фриц же не издавал ни звука. Угадать хоть бы одну его мысль. Фриц стоял за моей спиной. Почему он остановился? Может быть, у него закончились патроны? Что будет дальше? Может быть, я ему зачем-то нужен живым? Может быть, он меня боится? Да, да, он меня боится!.. Как хотелось в это поверить. Как хотелось, чтобы он исчез... Я не сдавался. Я не сопротивлялся. То ли смерть... То ли жизнь... Весы.

Шнур горит. Взгляд плавится. Оранжевые бенгальские сверла все глубже врезаются в окаменевшие зрочки, уничтожая плавающие на воде листья, напоенные хлорофиллом водоросли, ненужные собственные руки, фотографию матери. Не часто люди умирают сидя, с опущенной головой. И смерть эта не заслуга – наказание. *Слабого к смертной казни. Слабого к земле. Слабого в землю.* У меня отобрали спасение. Отобрали вторично. На сей раз он! Фриц, стоящий за спиной. У надежды оказались воровские руки. Кости выпали не в мою пользу. Собрать и бросить их заново уже нет времени. Дышать становится все изнурительнее, легкие набиваются раскаленными осколками, грудь вот-вот взорвется, взрыв неизбежен, и огненная лава высушит озеро. Лучше бы я погиб на передовой, чем сгнию здесь, в лесу. Так было бы легче матери, так было бы легче мне. Должно же стать кому-то легче от моей смерти. Только бы не ему. Только не ему. Но кому же? Я напрягаюсь, чтоб не закрыть глаза. Видят ли сейчас мои глаза вообще? Шнур становится все короче. Огрызок жизни, вьющийся, как разрубленный червяк. Плазма закипает в разбухших венах. Через несколько секунд воспламенившийся мозг превратится в пепел. И дунет ветер. И больше не вспыхнет факел.

Затылок зафиксировал неуверенное приближение шагов.

Локационный нюх сработал точно.

Ошибиться было невозможно.

Это был фриц.

Что-то железное упало.

Я ждал.

Хотя и сам не знал чего.

Вакуум.

Оголенный провод растянувшихся секунд.

До взрыва рукой подать.

Но даже это было не в моей власти.

Я поднял голову и слегка обернулся.

Фриц – в пяти метрах слева.

У меня закружилась голова.

Он достал из кармана сложенный вдвое конверт.

В конверте была фотография.

Я ничего не понимал.

Он же просто сидел.

Не шел дождь, не сверкала молния, дождевая завеса не окутывала туманом расступившийся лес, раскаты грома не имитировали войну, не удалялись и не ослабевали. Лишь внезапный рев бомбардировщика мог разогнать нас сейчас по разным углам ада.

Живая мертвая тишина.

Не обращая на меня внимания, он боязливо оглянулся, потом уткнулся в фотографию.

Бородатый фриц?! Что за мистика? Полинявшая рыжая борода. Где автомат? Мои глаза быстро его отыскали... Оружие валялось рядом. Что он здесь делает? Как он сюда забрел?

Не проронив ни слова, я замолчал.

Чтобы не мучить себя вопросами.

Но получится ли?

Это был новый страх.

Мокрая гимнастерка горчичником прилипла к телу.

Нет, я не боялся.

Не имел на это право.

Боялся ли фриц меня?

Он вытащил из кармана завернутый в носовой платок маленький кусок хлеба, отломил половину, несмело свистнув, бросил мне.

Я, на удивление, не растерялся и поймал.

Он смотрел.

Я вертел в руках крошившийся кусок.

От него.

Предра ссудок.

Он ждал.

Я проглотил хлеб.

Он смотрел.

Глоток хлеба.

Он встал и приблизился.

Я замер.

Огромный, в два раза шире меня.

Сильный. Но нет, не сильнее.

Он поднял валявшуюся под моими ногами фотографию, положил мне на колени и сел на место.
Я ждал.
Он ждал.
Он смотрел на свою фотографию.
Я – на свою.
Тоже заблудился... Похоже на то... Никуда не торопится... Сколько времени он за мной следил?.. Ссохшийся хлебный комоч медленно опускался куда-то вовнутрь живота. Не за мной же охотился?.. Иначе давно пристрелил бы... Точно, заблудился... У него такая же ситуация... Невероятное совпадение. Что делать?.. Надо выждать... Я выжду... Пусть идет своей дорогой... Я его не трону... Пусть уходит скорее... Я боялся встать. Уйти должен он... Он пришел сюда, пусть первый и уйдет... Пускай катится отсюда... Пока цел... Какая нечистая притащила его?..
Непонятный звук вторгся между нами.
Короткое замыкание.
Он разворачивал шуршащую фольгу.
Бред.
Он тщательно заворачивал.
Безумие.
Я искал логику.
Да, большую.
Да, ущербную.
Но все-таки логику.
И вдруг он крикнул «оп-ля» и бросил мне маленький темный квадратик.
Я поймал.
Он сквозь бороду засмеялся.
Я по вкусу понял, что это был шоколад. Однажды я его уже пробовал.
Шоколад.
Предрассудок меня не мучил.
Сейчас он внимательно читал письмо.
Я мог дотянуться до автомата раньше и выстрелить первым.
Он кашлянул.
Нет, пусть катится живым. Но поскорее. Он меня не тронул. Я его тоже не трону. Отпустить врага живым?! Об этом никто не узнает.
Я не спорил с собой.
Он резко повернулся.
Я не отреагировал.
Он всматривался в мой профиль.
Я искоса посмотрел в его сторону, чего надо?
Он что-то надумал.
Катись своей дорогой.
Он встал и подошел.
Я напрягся.

Он сел рядом на землю.
Я замер.
В который раз.
Опять.
Он протянул мне свою фотографию.
Замявшись, я взял.
Женщина с ребенком. Какое мне дело до них и до того, кем они ему приходится? Лиц я не видел. Мне было безразлично. Безразлично фотографию я вернул.
И в этот момент коряга, на которой я сидел, обломилась. Сантиметров тридцать до земли. Но мне они показались тридцатью безпарашютными метрами. Резко потеряв равновесие, угрожающе размахивая руками, я грохнулся на дно пропасти, зацепив при этом кончиками пальцев локоть фрица. Все произошло мгновенно и беззвучно. Оторопевший фриц, думая, что я на него набросился, отлетел в сторону, готовый в любую секунду в прыжке достать автомат. В суматохе я тоже принял случившееся за внезапное нападение, съежился, прижался щекой к земле, но не потерял в душе надежды отбиться. Как дотянуться до оружия первым? Жаль, нет ножа. Из двоих выживал один. Из двух умирал один. Немая сцена. Импровизированная театральная вариация вечного страха, животного, обреченного, накопленного тремя годами. Два чучела, набитых этим страхом, со стертými ценниками. Два оптимиста. Два смертника. Только припадок истерического смеха, а граница между естественным и сумасшедшим уже была уничтожена, смог взорвать это жалкое до комизма противостояние. *Из двоих выживал один.* Над чем смеялся он, не знаю. Я же себя убеждал, что смеюсь над собственной трусостью. И смех этот был долгим, болезненным, до отхаркивания.
Сколько дней он таскается по лесу?.. Чего он ждет сейчас?.. Почему не собирается уходить?.. Если он будет медлить, я его убью... Что ему от меня нужно?.. Его надо «валить»... Все это просто так закончиться не может... Он меня убьет... Он найдет подходящий момент... Надо его опередить... Его надо убить... Я должен выжить...
Проглотив голодную слюну, а с ней и нервное возбуждение, фриц успокоился, подошел к своему вещевому мешку и достал из него флягу, в отвинченный колпачок налил какой-то жидкости и протянул мне. Я отказался. Он, не задумываясь, выпил сам. Рычащий выдох. Бешеные глаза закатились к небу. Не отравлено. Слегка откашлявшись, он вновь налил до самого края и опять протянул мне. На этот раз я не мотал головой, а выпил залпом. Это оказался чистый спирт. Меня всего перекосило. Я начал заглатывать горячий воздух, но, увы, не помогало. Внутри все жгло. Руки, зажавшие на мгновение рот, начали покрываться красными пятнами. Из глаз полились слезы. Тяжелое дыхание заглушило изошренную брань. Пальцы нащупали кадык – самую нужную в этот момент клавишу. Надо стерпеть... Во что бы то ни стало... Сейчас все пройдет... Тогда, в первый раз, было тоже плохо... Нужно стерпеть... Провал сознания. Сплошной гул.

Самоубийство. Я попытался встать, чтобы подойти к воде, но не смог. Лес дал крен влево. Маячащий силуэт фрица начал размазываться, будто он прятался в аквариуме, и на фоне яркой радуги исчез совсем. Голова тяжелела. Плечи уже не были в состоянии ее удерживать. Отделившись от тела, она упала на траву.

Без памяти я пролежал недолго, потому что, когда я открыл глаза, солнце продолжало висеть в полуметре от макушек деревьев. От воды неслась шальная музыка. И это было не в бреду. Шатающийся фриц разгуливал по берегу, пересчитывая свои зубы губной гармошкой. То ли пьяный, то ли ненормальный... побыстрее б убраться отсюда... В лес... Напрямую... Лишь бы он дал спокойно уйти... Без стрельбы и крови... Нужно как ни в чем не бывало встать и умыться... Отвязаться, отвязаться от него скорее...

К вечеру вода стала теплой и никакой бодрости не придавала. От нее несло деревенской баней, водкой и грязными шутками. Несколько минут, проведенные под глубоким наркозом, грубо выпихивали меня назад, в мясорубку реальности, вернее, реальностей, и их было так много, причем, кроме самой войны, ни одной условной. Что это?.. Он опять приближался ко мне. С вымученной идиотской гримасой. Тактический прием?.. Блеф?.. Психическая атака?.. Вытянув продолговатую голову из огромных плеч, по щиколотку в воде, спотыкаясь в ритме танго, фриц наступал. Он меня плохо видел, щурился, солнце слепило ему глаза. Только остановившись впритык к моему носу, он на несколько секунд закрыл глаза, перевел дыхание, по-кошачьи фыркнул, и сверкающая гармошка взвизгнула с новой силой. Его правая рука резко схватила меня за талию, приподняла и насильно выпрямила. Шаг назад, три шага вперед, шаг назад, три шага вперед, один в сторону. Фриц прижал меня к себе так крепко, будто привязал веревкой мой голод к своему. Его ноги магнитом тащили за собой мои ноги. Его музыка одурманивала не только его разум, но и мой. Вот он, танец нищенского счастья на окраине Буэнос-Айреса. Шаг назад, три шага вперед. Со стороны, наверное, я выглядел в этих костлявых объятиях огромной тухлой рыбиной, которую трудно удержать в руках, а выбросить жалко – слишком дорогой ценой все вокруг доставалось. Шаг назад, три шага вперед. Любовная страсть на лазурном берегу. Шаг назад, три шага вперед, шаг назад, три шага вперед, один в сторону. Пляска смерти перед всеобщим номинальным пиром... *волны, плещутся волны, сосны, качаются сосны... И в этот наш последний час любовь на м шепчет не про нас, прости меня в последний раз, не медля, расстреляй сейчас... волны, плещутся волны, сосны, качаются сосны...* В воду мы падали, как на брачное ложе, в обнимку. Вот!.. Сейчас!.. Не упустить момент!.. Голова фрица оказалась придавленной моим локтем ко дну. Самый подходящий случай... Его нужно утопить... Утопить!.. Не дать ему выбраться из этого ила... Всего несколько секунд... Только бы не струсить... Чуть сильнее надавить на горло... И я – свободен... Он уже

нахлебался воды. Его пальцы впились мне в плечо. Сможет он встать или нет, от него не зависело. При этом локоть мой был для меня не столько единственной опорой, сколько главным оружием. Нет, сразу ему не вскочить на ноги... Даже если учует смерть... Времени на раздумье не было. Только бы не струсить... Чуть сильнее надавить, и фриц будет мертв... Другого шанса не будет... Иначе он меня убьет... Из двух выживал один. Только бы не струсить... Еще секунду... Утопленник в аквариуме. Еще секунду... Нет... Нет, не смогу... Не смогу... Я резко перевернулся на другой бок, вытащив за собой мертвеца.

Два выброшенных на берег трупа.

Он нахлебался вдоволь.

Его рвало.

Никакого искусства. Никакого высокого штиля. Абсурд. Плюс физиология. Почти некрофилия. Я грызу траву. Грызу собственные губы. Грызу свое бессилие и совесть. Да, я – проигравший трус... Каких хватает по белу свету... Да, я признаю свое поражение... Но голову не подниму... Я останусь лежать... Пусть убьет... Я не шелохнусь... Не открою глаза... Не выплуну траву... Пусть меня раздавит... Пусть застрелит... Пусть... Пусть насладится моей смертью... На то он и фриц... Мне страшно... Mamochka, ты уже меня не спасешь... Ты устала меня ждать, но ты не можешь мне помочь... Три года ты страдала... Три года я видел тебя во сне... Три года я пытался разгадать значение запутанных снов... И вот сейчас ты меня бросила...

Ничто так не отдавало смертью, как эта скрывающая мертвую прохладу трава. Я останусь на ней лежать... Я залью ее своей кровью... Я вдыхаю ее разлагающийся аромат и осознаю, что ни растениям, ни животным нет до меня никакого дела. Каждый существует и мучается сам по себе.

Природа – смерть.

Я теряю последние силы.

Mamochka, и все равно ты рядом...

Ты – здесь.

Опять стоишь посреди бесконечного двора. Идет красный дождь. Ноги завязли в раскисшей земле. Разорванное до пояса белое платье заляпано грязью. Исцарапанная грудь жадно вбирает воздух. Руки сзади связаны веревкой, как у пленного. Ты хочешь сделать шаг, но смоляная жижа тебя не отпускает. Слабое тело накренилось вперед, готовое сделать решительный рывок, но ноги остаются неподвижными. Стертые веревкой до крови руки отчаянно борются. Слезы твои смешиваются с каплями дождя. Но я не могу прийти тебе на помощь. Я уже утонул в этом болоте. Под твоими ногами. Моя грудь ощущает тяжесть твоего тела. Больше не сопротивляюсь. *С о п р о т и в л е н и е б е с с м ы с л е н н о.*

Навсегда – с тобой.

Навсегда – в земле.

Смерть – природа.

Я плаваю в океане в обыкновенной весельной лодке. Сжигающая жара. Пить. Все время хочется пить. Горизонт очерчен красной линией. Красный круг. Неожиданно эта бесконечная равнина поглощается налетевшей ночью. Темнота. Ледяной ветер бурлит, взметая сверкающие молнией брызги. Лодку начинает швырять по сторонам. Весла с треском срывает, и я теряю ориентацию. Где я?.. Я даже не умею плавать... Кто меня вытащит из этого водоворота?.. Между раскатами грома вдалеке злобно завывают собаки, отовсюду доносятся стоны тонущих, кто-то громко чихает. Вода наступает. Лодка вот-вот перепоплнится, и я пойду ко дну. Весь мокрый и разбитый, дрожу. Меня уже ничто не спасет. Из черноты выглядывает полоска луны. Ножевая рана, из которой струйкой сочится желтая кровь. Вокруг с гулом скользят самолетные тени. Пахнет жареным человеческим мясом...

Меня кто-то пнул в бок.

Я поднял голову.

Это был фриц.

Что ему от меня опять надо?..

Он меня куда-то звал.

Воздух, наполненный костром.

Жарилось мясо.

Невероятно, неужели это не сон?..

Я захлебывался собственной слюной.

Фриц махнул рукой.

Я встал.

Наступал вечер.

Скоро – ночь...

Пора, наконец, отсюда убираться...

Я шел за врагом.

Костер был метрах в двадцати.

Я выглянул из-за его спины.

Жарился мой фазан.

Я узнал его.

По изуродованной шее.

Мы остановились.

Кушать подано.

У меня закружилась голова.

Неужели этот дурак не понял, что я хотел его прикончить?..

Ведь из-за меня он нахлебался воды... Я же его топил... Не хватило малости... Смелости... А чего не хватило ему?.. Почему он меня не убил?.. Я дал такую возможность... Он до сих пор пьян... Гармонист... Или, может быть, одиночество страшнее ненависти?.. И страшнее голода?.. Раз он притащил меня сюда... Раз он нашел этого фазана, значит, он действительно следил за мной все утро... Убить легче всего... Хотя я же не смог... Но почему не смог он?.. О, если бы меня сейчас видел кто-нибудь из наших...

Я сидел напротив фрица.

Фриц – напротив меня.

Он разломил почерневшую птицу пополам.

Фазан напомнил мне о сегодняшнем утре.

Фриц протянул мне кусок.

Мясо жгло...

Руки.

Губы.

Рот.

Желудок.

Мясо жгло меня...

Я проглотил его, почти не прожевав.

Фриц ел медленно.

И я ему завидовал.

Фриц облизывал пальцы.

А я не знал, куда себя деть.

Он подбросил несколько толстых веток в костер.

У него нашлись спички.

Значит, заблудился недавно.

Почему меня не прикончил?.. Ему бы досталось больше...

Он посмотрел на меня.

Я бросил в костер ветку.

Он достал из кармана флягу.

Да, у меня сегодня день рождения... Или завтра?..

Он налил в колпачок спирта и протянул мне.

Я выпил.

Он выпил тоже.

Почти совсем стемнело.

Я выпил еще.

Он выпил еще.

Мы выпили еще.

Мы сидели друг против друга.

Мы ненавидели друг друга.

Мы молчали.

Мы боялись друг друга.

Языки пламени вздрагивали, как раскаленные ножи.

Он долил последние капли.

Я отказался.

Он выпил.

Меня тошнило.

Он посмотрел на меня.

Вместо его глаз горели два костра.

Наверняка эти костры горели и вместо моих.

С рассветом надо убираться.

Фриц смотрел на небо.

Нет, надо ночью, пока он спит.

Фриц отбросил флягу в сторону.

Я его не трону.
Он же меня не тронул.
Надо мной кружили комары.
Их ждал сытный ужин.
С привкусом спирта.
И фазаньего жира.
Я посмотрел на небо.
Оно было таким же, как и все предыдущие дни.
Фриц опять взялся за свою гармошку.
Этот дребезжащий звук повалил меня в сон.

Я чувствую нежное прикосновение комара. Я хочу его ударить, но какая-то сила останавливает мою руку, заставляет лежать спокойно. Я знаю, что после всех этих нежностей в ход будет пущено главное оружие – акульи зубы и насос, но ничего не могу поделать. Полное бессилие. Насытившись, он улетает. Сон во сне. Я лежу, боясь пошелохнуться. Уже знакомый звук вновь усиливается. Ясно: враг решил напоить и собратьев. Гудение превращается в сирену. Я в ужасе плотно укрываюсь бронированным ватным одеялом, но острые зубы прогрызают все. Приближается гибель. Но еще больше я боюсь другого – превратиться в такого же комара, стать таким же кровопийцей, самопожирателем. И вот я в толпе витаю под потолком своей комнаты, резко падаю вниз, поднимаюсь вверх. Тысячи мягких тел и острых зубов взывают к одному – крови. Я ощущаю свой голод и сожалею, что фазан оказался таким маленьким. Голодная стая, в которой был и я, в последний раз решительно налетает на тело и без труда овладевает им. Оно отдается на растерзание и уже не сопротивляется. Я наслаждаюсь собственной кровью. Сон во сне.

Едва уловимый собачий лай из глубины леса оторвал мою голову от земли. Лежавший напротив фриц открыл глаза. Сначала я не узнал его измазанного в пепле лица. *С о б а к и*. Значит, где-то недалеко были люди. Фриц мокрым от росы рукавом вытер физиономию. Лай постепенно становился все отчетливее. Значит, собаки приближались. Значит, приближались люди. Голова гудела от вчерашнего спирта. Кто они?.. Фрицы?.. Наши?.. Кто?.. Вот он, последний страх, фриц вскочил первым и оказался к своему оружию ближе. Сначала я не совсем понял, что происходит. Раннее лесное утро было переполнено истеричным птичьим многоголосьем. Три прыжка – и я тоже с автоматом в руках. Лай становился все звонче: чьи же собаки?.. *Из двух выживал один*. Сейчас это звучало как насмешка. Фриц сделал несколько отступающих шагов к лесу. Я остался стоять посреди поляны. Чьи собаки?.. Наши?.. Фрицеры?.. Он направил на меня автомат. Я сделал шаг назад. Что будет, если это наши?.. Что будет, если это фрицы?.. До конца истории оставались считанные минуты. Какие-то огромные птицы прыгали с дерева на дерево. Одна из них сорвалась с ветки и во все горло завопила рядом с фрицем. Он не выдержал. Он выстрелил первым. Два жгучих жала впились мне в грудь. Нажали на мой курок. Автоматная очередь

разрезала лес по диагонали – фриц упал замертво. Я смотрел вперед, уже ничего не различая. Рот заполнялся вязкой горько-соленой жидкостью. Это была кровь. Моя фазанья кровь. Меня шатало. Шаг назад, три шага вперед, один в сторону. *Волны, плещутся волны, сосны, качаются сосны...* Последнее танго на окраине жизни. Шаг назад, три шага вперед. Все вокруг стало красным. Я утопал в земляничном океане. Последними усилиями мне удалось поднять себя на ноги. Чуть видимый белый силуэт в балахоне медленно шел мне навстречу. Была ли это мать? Не знаю. Я опять упал. На колени. Собачий лай был уже совсем рядом.

Я умирал.

ОДИН СЕРАФИМ, ДВА СЕРАФИМА

Мой нежный дикий грушевый
цветок, на лепестке твоём я вижу
каплю крови.

Ключ есть отсутствие ключа.

... сначала Он создал природу,
создавшую Его.

Я растягиваю время.

Я растягиваю нейлоновые вены.

Перламутровые, бесконечно длинные.

Не разорвать.

Я не режу их лезвием.

Я боюсь себя поранить.

Я связываю в пучок цианисто-калиевые лучи неожиданно
появившегося солнца и, сощурив глаза, встречаю приближающийся
полдень сквозь щель-трещину приоткрытой во двор двери.

Я родился в полдень.

Я родился в затмение.

Я родился в конце мая.

Я родился сегодня.

Я родился сорок четыре года назад и провел все ночи в этом
однокомнатном, с окном на северо-восток, доме (24 кв. м с ширмой-
перегородкой, через которую в детстве перебрасывал мыльные
пузыри). В нём когда-то давно я подслушал фразу: «Один раз солгать
легче, чем десять раз повторить правду». К кому относились эти слова?
Я так и не узнал. Было ли это покаяние? Скорее, обвинение.

Здесь жила моя мать, она умерла. Здесь жил мой отец, он умер.
Здесь четыре раза я болел пневмонией и однажды ступил ногой в
кипящий компот. Здесь я стал мужчиной. Здесь я полтора года был
женат, однако воображаемого счастья так и не дождался. Здесь бывал
Серафим, он тоже умер. Здесь бывали и другие люди. Они были
чужими.

Никто никогда не вторгался в мою жизнь. Никто в неё не
вторгается и поныне. Моя жизнь есть часть моей комнаты. В комнате
пока прохладно, но от четырех глотков желтовато-фиолетовой водки
лоб становится мокрым, плоским, под мышками – скользко, а снять
рубашку – лень.

Здесь меня родила мать, и стала матерью. В этот день на
подоконнике, в банке из-под абрикосового варенья, стояли белые
розы, подаренные сестрой – уцелевшая фотография того времени с
точной датой. От цветов падала укороченная тень. Значит, было
солнечно. Здесь не любил меня отец, и не стал мне отцом. Я –

единственный, кто живет в этом доме. Я – единственный, кто родился
в нём и ещё не умер. У рода нет начала. У рода есть только конец.

Прохлада забыта. Мне жарко. Хочется грызть лед, крошить
зубами стекло, и, не поранив язык, впитывать жгучую влагу. Стены
синусоидами заключают меня в плавающий прямоугольник. С
падающей мачтой без парусов – трещиной. Проваливающейся уже не
во двор – в бездну.

Легкое головокружение. Я не чувствую никаких запахов.
Окружающие предметы и воздух их лишены. Два оранжевых оленя с
плюшевого, в полстены, синего ковра упираются рогами в пустоту. Не
замечая не только меня, но и всего остального. За внешней
выпуклостью интерьера полностью отсутствует его бытовая
необходимость.

Я всю ночь не спал. Всю ночь из дома напротив вырывался
чахоточный смех соседей. Всю ночь одеяло и простыня сползли на
пол. Всю ночь подушка исчезала из-под головы. В духоте и ознобе
борьба со своей же постелью закончилась неудачей. Пришлось встать
до рассвета. Потом – работа. Потом – благодарность-неблагодарность
по поводу этой самой работы. И вот я жду. Жду, но без суеты,
облокотившись на собственную усталость, рюмкой подперев
подбородок, верчу в руках найденную позавчера у ворот кладбища
пиковую восьмерку – хочу добраться до её значения. Хотя чего,
собственно, я жду? Подергивает перевязанная фланелевым кашне
поясница.

Последнее время в будние дни стали хоронить с утра. И пока
многие бездельники ещё заканчивают свой поздний завтрак, я, успев
устать на работе, уже полчаса как дома. Приведенная в порядок
заплеванная Моцартом труба покойно лежит на буфете. Рядом с
почерневшей от дождя зеленой фуражкой и коричневым галстуком.
Здесь же – реликтовая фотография с белыми розами, мелочь,
разбросанные таблетки всяких лекарств.

Могильщики быстро закидали яму глинистыми комьями. Двое
работали за четверых. Согнутой совковой лопатой и киркой. В
расстегнутых, с оторванными рукавами, рубашках, босиком. Один из
них поскользнулся и едва не упал вниз. Второй с трудом поймал его за
руку. Кто-то испуганно вскрикнул. Кто-то резко отвернулся. Живой и
мертвый в одной могиле?! Всем было не до зрелищ. Все действовали по
сценарию и утвержденному «Вечной жизнью» преискуранту. Все
дружно уронили на могилу побитые дождем пресные цветы. Все
вдохнули, как по команде. Все что-то пробубнили себе под нос. Все,
почти стыдливо, трижды перекрестились. Все были без зонтов. Все
торопились и переглядывались. Все спотыкались и делали вид, что не
злились. Обряд бракосочетания с землей превращался в горстку
отсыревшего праха. И не просохнуть ему ни через девять, ни через
сорок дней, ни к годовщине смерти. Все стояли с зажатыми носовыми
платками в кулаках. Все были озабочены и капризны. Среди
насильственно увеличенных керамических портретов. Среди

раскисших, с праздничными лентами, венков. Среди бесчувственно вкопанных крестов. Каждый спешил скорбеть под крышу, за стол. Никто не хотел скорбеть под дождем. Скорбь изображали все. Под конец каждый, насытившись скорбью, спешил домой. Скорбный ритуал. Беззубая конвейерность скорби. Восемнадцать скорбящих увез маленький, с черной полосой, автобус. Четверем не хватило места. Четверо оказались случайно скорбящими. Музыканты разошлись по домам пешком. Тоже согласно преискуранту, из экономии. Тридцать минут под дождем без музыки. Тридцать минут послескорбия.

Сегодня заплатили наличными. Так было удобно «Вечной жизни». За погодные условия не доплачивали. Дождь пошел внезапно, вопреки прогнозу. Я во второй раз пересчитываю деньги. В голове, тихо апеллируя друг к другу, перешептываются цифры. Для уверенности я в третий раз пересчитываю деньги. Настроение – не самое худшее. Настроение обнадеживает. Я в четвертый раз пересчитываю промокшие бумажки и убеждаюсь, что до воскресенья хватит, а в выходные всегда работа есть. Ближе к выходным людей всегда умирает больше, потому что даже самые дорогие похороны обходятся на 20% дешевле, чем в будни. Мысленно прокормив себя ближайшие три дня, я дожидаюсь двенадцати часов. Растягиваю одиночество. Одиночество растягивает мою старость. *У рода нет начала. У рода есть только конец.*

Я родился старым. Старым лежу на кровати, свесив на полинявшую ковровую дорожку ноги в испачканных кладбищенской грязью отцовских ботинках, и в сорок четвертый раз напоминаю о себе. Озираясь по сторонам, минутная стрелка медленно ползет вперед. Она тащит за собой часовую. В хвосте еще медленнее тянутся невидимые остальные. Умирая, мать сказала: «Серафим, не бросай дом, в котором ты родился, если сам не построишь новый. Только Иисус во всем прав». Мне было одиннадцать лет. Был вечер. Я стоял у кровати в валенках. Воробей клювом стучал в окно. У меня стучали зубы. Уличный пейзаж в оконной раме. Сквозь тонкую бесцветную сетку шторм. Было холодно. Серо-темно. Отца уже который день не было дома. На соседском дворе выла собака. Выла вторые сутки. Мать не плакала. Я не плакал. Был декабрь.

Дальний угол под потолком. Предупредительно-строгий диагональный взгляд. Запутанные в паутине глаза иконы смотрят на меня. *Только Иисус во всем прав.* Прав вот уже сорок четыре года, и благодаря Ему я живу. Благодаря Ему мы продлеваем верой наше существование. Я знаю, что Лука тоже верит. Потому что, когда в доме нечего есть, он боязливо прыгает ко мне на кровать и, щадя мои нервы, не мурлычет, забившись клубком под согнутые колени. Он не спит – он надеется, что на следующий день будет сытым, что и ему бросят кусок мороженой рыбы. Его терпение – мое лакомство. Его молчание – моя молитва. Лука верит в меня, я верю в Иисуса – цепь. Два звена бесконечного позвоночного хребта. *Только Иисус во всем прав.*

Живет с нами еще хромой, с перевязанной лапой, рыжий петух, которого я купил полгода назад на базаре, но которого так и не смог зарезать. То ли испугался крови, то ли кот своим хищным мяуканьем меня остановил. Хотя было жалко напрасно выброшенных последних денег, мы так и остались жить втроем. Я любил кота. Кот полюбил петуха. А петух гордо меня ненавидел. За длинный нож и еще больше за длинные голодные руки в то утро. За выдранный клочок цветастого хвоста. За ревность. *Равнобедренный треугольник.* Прямой угол. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов?

Глаза иконы смотрят на меня. Разжимается стальная пружина. Я зажигаю новую свечу. Посиневший, в известковых разводах, потолок, как наспех заляпанное грязными облаками небо, опускается ниже. В комнате темнеет... Что ярче: полоска солнца или язычковое пламя свечи? От чего теплее? *Только Иисус во всем прав.*

И лежать, и сидеть надоедает. Хочется закурить сигарету. Хочется еще водки. Хочется быть свободным. Облизывая высохшие губы, я сходу выпиваю две полных до краев рюмки и чувствую, как начинаю трезветь. Держась за спинку кровати, удается легко встать. Левая мочка уха поражена иглой. Спиртотерапия. Глаза не нащупывают тяжелых век. Переносицу не стягивает узел. Только щеки пылают, как после двух размашистых пощечин. Может, меня вспоминает кто-нибудь из покойников? Постепенно возрождается воля. Воля и сила жить. Глаза иконы смотрят на меня. Отбросив в сторону сломанный стул, через четыре шага я ударом ноги настезь открываю дверь во двор. Я впервые волнуясь. Пульс отстукивает двенадцать раз. Двенадцать толчков крови. Секунда всеобщего молчания. Внутри меня. Замри, полдень. Замри, затмение. Замри, жизнь. Я появляюсь на свет.

Солнце брызжет в глаза, окропляет кислотой зрачки, вытравливает способность видеть. Я, обороняясь, закрываю лицо ладонью. Пальцы притрагиваются к опухшим морщинам-складкам. Который день я не бреюсь? А, впрочем, зачем? Какая разница между бритым и небритым? Ведь у меня даже зеркала нет. Моим покойникам – безразлично. Другим до меня нет никакого дела, хотя признаки дежурной жалости и неискреннего сочувствия с разными оговорками и в разных интерпретациях проявляются у всех соседей. Для каждого из них жизнь в одиночку есть одиночество. Заговорщицки прицепившись к слову «один», они совсем не понимают таких преимуществ, как «сам» и «себе». Вот их, правда, жаль.

Между солнцем в зените и небритостью нет никакой связи. Остаток родительского зеркала неделю назад разбил Лука, спрыгивая с полуразвалившейся этажерки. Теперь, может быть, станет легче. Себя не видеть – о себе молчать. Вперемешку с суеверием мелкие осколки до сих пор валяются под кроватью. Сведенные судорогой колючие скулы молнией вычерчивают некий зигзаг. Пригладив волосы, я передергиваю плечами – просыпается накопившаяся энергия. Раскаленные рентгеновские лучи делают закрытые веки прозрачно-

красными. Я чувствую, как измученные бессонницей глаза наполняются кровью. По щекам, будто сок раздавленной переспелой сливы, стекает пот. С кончика носа падает несколько капель. Раздутые ноздри вдыхают максимум кислорода. Хочется раздеться догола, вытянуть вверх руки, прибить их гвоздями к воздуху и... повиснуть в пространстве. Вращаясь вокруг собственной оси в аномальной системе координат, я ощущаю мгновение взлета. Полететь бы вопреки всем законам физики и соседской морали над городом и кладбищем, над промежуточностью жизни, под звуки ежедневной музыки, с израненными в кровь руками, над другими городами и другими кладбищами, над всеми. Как выглядит мир сверху? Как они там, наверху? Через какую границу проходит линия отрыва? Удастся ли когда-нибудь восстановить тропинку к людям? Да и где они, живые люди?

Желая придать форму дневному космосу, я откидываю голову назад, будто хочу ее оторвать. Шея ноет воспаленными железами. От солнца пухнет голова. Небо и физическая боль. Сфера всепрощения и всепроклятия. Сфера кем-то отмененного будущего. Гигантский, сплетенный из человеческих тел, крест. Кто будет распят на нем? Подкативший к горлу ершистый комок заставляет кашлять. На несколько секунд стиснутые в карманах кулаки расслабляются. Сверхэнергия начинает медленно меня покидать. Ноги еще вытянуты в струны, но дрожание руки – уже совсем не крылья. Невозможность вырваться из шкурной оболочки. Неожиданная вялость. Естественное бессилие, похожее на предутреннюю усталость. Кажется, что я один вырыл двухместную могилу. Куда девалась сила, еще минуту назад готовая меня поднять и вознести? Неужели я так крепко привязан к земле невидимыми корнями-грехами, уходящими вглубь? Добраться бы до их истоков. Во всех ли моя вина? Я несчастно улыбаюсь. Самому себе. Бессмысленно все это. Бессмысленно одновременно хотеть и вверх, и вниз. Еще бессмысленнее не двигаться с места. Повиновение. Хотя силы наверняка вернутся.

Я разговариваю с собой нарочито низким тембром. Я боюсь, что меня кто-нибудь услышит и узнает мой голос. Я ни от кого не прячусь, нет, я никогда не испытываю страха перед людьми. Я лишь боюсь быть ими неправильно понятым. Но это настолько типично, когда их липовая сердобольность оборачивается зачастую в конкретную ненависть. А люди могут быть страшными и злыми. Поэтому человеческий прогресс и вся его жалкая неправдоподобность проходят мимо меня. Чужая версия моей жизни меня вполне устраивает. Эгоизм любви меня уже не волнует. Я существую и имею тело. Оно уважает посторонние вкусы, но предпочитает собственный. Я – часть природы. Природа – часть меня. Так и вращаюсь вокруг своей оси.

Лука напоминает о себе первым: завывающими сквозь редкие зубы звуками. Выбрав доску посуше и без гвоздей, он нежится на солнце, как на спасательном плоту, между двумя лужами, задрав вверх короткие пухлые лапы. Петух стоит рядом, в воде. К бесконечному

кошачьему удовольствию выклеивает из его все еще густой шерсти мелких блох, сумбурно, но волнуяще причитая на только ему понятном языке. Что у них может быть общего? Почему они весь день вдвоем? Однополая фантазия на тему совместимости? А если бы я петуха все-таки зарезал?.. Хм, и у курицы есть печень и пупок, и никак это не связано с ее головой... Остановившееся на несколько минут сердце вновь начинает учащенно биться.

– Чего разлегся у порога, тварь Божья?

Кот не шевелится.

– Обязательно нужно в ногах путаться...

Со словами вырываются брызги слюны.

– Другого места не нашлось, что ли?

Открыв глаза, кот делает вид, что меня не понимает.

– Слышишь?.. И ты, куриный мозг, давай-ка...

Я топаю ногой.

– Проваливайте отсюда!..

Кот вскакивает, зацепив дугообразным хвостом дергающуюся голову петуха. Почти как птица. В стоп-кадре: петух смотрит на кота, кот смотрит на меня, я уверенно стою с вытянутой рукой. *Равнобедренный треугольник*. Я сам удивляюсь своей агрессивности, но во второй раз топаю еще сильнее. Лука медленно разворачивается и, не реагируя на мою бурную жестикуляцию, еле-еле передвигая лапы, не протестуя, направляется к глинобитному, с вырванными окнами, сараю в углу двора. Там тоже есть доски, оттуда тоже скоро исчезнет дообеденная тень. Петух чучелом уставляется в мою сторону вражеским, до скольжения отшлифованным взглядом. Застывшая на ноле жирная черная стрелка часов. Парализованное полужлоба-полупрезрение. Кажется, что он вот-вот оскалит зубы и пособачьи на меня залает. И скорее всего, будет прав. Я – враг в собственном доме. Я – враг в его доме. Нужно спрятаться в тень. Подальше от солнечной камеры слежения. Нужно принять еще водки.

Очередные две рюмки хватают меня за горло без предупреждения, правым хуком пробивая кадык вовнутрь. Спирально вытянутые круги мельтешат перед глазами червями-пунктирами, поочередно вспыхивают красными протуберанцами. Дышать испарениями бесцветной смолы становится невозможно. Вязкая духота. Нужно облить себя холодной водой. Куда делся вчера начатый кусок мыла? Ведь лежал здесь. После кладбища надо обязательно вымыть руки. Где мыло? Почему я только сейчас об этом вспомнил? Почему я не вымылся сразу? Я срываю с себя рубашку. Я нервно срываю с себя все. Запутавшись в брюках, падаю. Коленная дрожь передается всему телу. Где же мыло?.. Где-то здесь. Конечно, валяется на полу за ведром. Я поливаю себя из шланга шипящей струей. Все вокруг с жадностью ее впитывает. Вода действительно холодная и быстро приглушает чувство парадной возбужденности. Но кожа подогрывается изнутри. Изнутри поступают и новые команды: еще

водки. Только бы не захотелось невозможного. Только бы не оторваться от пола. Только бы не полететь.

Следующие две рюмки я выпиваю за собственное здоровье и с кривого разбега заваливаюсь на кровать. Впервые в жизни мне кажется, что я физически здоров. При этом, как никогда, боюсь серьезно заболеть. Впервые в жизни я о чем-то для себя прошу Бога, и надеюсь быть услышанным. Мне – сорок четыре года. Запутанные в паутине глаза иконы смотрят на меня. *Только Иисус во всем прав.* Только Ему решать, от какой болезни мне умереть. И только Он знает, сколько еще здоровья у меня в запасе. Я тянусь к этажерке за спичками и закурываю измятую сигарету: все к черту! Да здравствует жизнь! Белый флаг свободы – на башню! Сегодня – день моего рождения!!! Гулять!!! Гулять на здоровье! Во имя здоровья! А заодно, назло здоровью.

– Лука! Слышишь, кот паршивый? Сегодня – гуляеммм!.. Сегодня – праздник, миленький мой. И, может быть, последний. Я хочу сегодня себя любить. Слышишь? Не только тебя, но и себя. Один-единственный раз. Сегодня! Слышишь, кот паршивый? Сейчас! Лука!!!

Я выношу во двор два стула и стол, ставлю на него все, что может, по моему мнению, пригодиться к обеду: хлеб, свежий огурец, лимон, банку сардин в масле, полграфина водки.

– Баночку рыбки для тебя припас. Иди сюда, мой котик. Я же знаю, что ты сегодня ничего не ел. Не будем с тобой сориться.

Лука прыгает мне на руки.

– Сладенький мой... и все же ты еще та сволочь. Каждый день предаешь мою любовь, спутавшись с этим рыжим. А сейчас за пяток гнилых рыбешек продаешь его... Ну ладно, не сердись. Мы с тобой – два сапога пара, и доживать нам век вместе. Давай выпьем за мое здоровье. У меня сегодня день рождения. Мне – сорок четыре. Тебе чуть меньше. Когда тебя произвели на свет, я не знаю, но до конца нам осталось одинаково... Почему твоя рожа все время в курином пуху?..

Лука вскидывает хвост.

Я глажу кота против шерсти.

Кот не дышит.

– Точнее, не в курином, а в рыжем пуху... Как тебе может нравиться этот омерзительный цвет? Лука, нет у тебя вкуса... Ну ладно, ничего страшного, сейчас я тебя накормлю. Для особого случая сардинки попридержал...

Консервную банку я открываю неловко, торопясь, нож выскальзывает из рук на землю, в середину ладони врезаются заусеницы жести. Далекая боль тонет в теплой влаге, но после первых капель крови, плавающих в густом рыбьем жиру, становится резкой и колющей. Ладонь наполняется кровью. Кухонная тряпка накрывает руку и в момент краснеет. Кровь наступает все сильнее. Остановить ее можно уже только трезвым разумом. Нужно найти другое сухое полотенце, покрепче зажать в кулаке, потом перевязать рану, и – ничего страшного. Нужно на время подавить боль: представить руку

чужой. Сочащийся кривой разрез делит линию жизни надвое. На две отдельные части. Я пытаюсь опять их соединить, туго перетягивая ладонь широкой лентой от простыни. Всякое случается. В этом нет ничего страшного. Чем жизнь не война? Вытряхнув рыбу на тарелку, я протягиваю ее Луке, а себе наливаю полную рюмку. На графине остаются красные отпечатки. Перепуганный кот запрыгивает на стул, но к еде не притрагивается.

– Ничего не произошло. Маленькая неловкость рук... Давай выпьем за мое здоровье. Сегодня у меня праздник. А линия жизни опять сростется. Ну, останется шрам, и всего то.

В стоп-кадре: я – опрокидываю рюмку, кот – с приподнятой лапой над тарелкой, петух, за что ему отдельное спасибо, отсутствует. Торжественный обед. Торжественный тост. Торжественная клятва себя любить и беречь собственное здоровье. Сохранить себя для себя. Не совсем уверенной здоровой рукой я наливаю еще одну рюмку. Мокрое пятно расползается по скатерти. Лука отрывает от тарелки лоснящуюся жиром морду и не находит слов. Ему, кажется, что-то не нравится... Но шел бы он куда подальше... Меня волнует, что водка становится теплой. Теплыми становятся воля и откровение. Ничто не может защитить меня от солнца. Никто не может защититься от моей злобы и подогретой фантазии. Все окрашивается в черный цвет, пропитывается моей черной сутью. Даже кровь. Черепное затмение. Боль порезанной руки отдается в висках. Тело скоропостижно тяжелеет, превращается в отсыревшее дерево. Распилить бы его на части и занести в дом. Черный кот спрыгивает с черного стула.

– Заморил червячка?

Кот молча удаляется.

– Сожрал?..

Выстрелив взглядом, Лука исчезает за сараем.

– Проваливай, проваливай отсюда... Ползи к своему рыжему... Ему тоже надо перекусить твоими блохами... Ненасытные... Скажи ему, что завтра куриный бульон варим... Пусть готовится...

Встав из-за стола, я спотыкаюсь, теряя равновесие. Земля обрушивается на меня всей своей черной массой. Из глаз выпадает треснутое увеличительное стекло. Темнота. Я размахиваю руками в поисках помощи. Выжженное черным солнцем небо категорично в своем безразличии. Обиженные кот с петухом исчезают из поля зрения. Им нет никакого дела до моего дня рождения. Все окружающие сооружения и предметы настроены против меня. Черный дом медленно отодвигается вместе с черной тенью. Я едва успеваю завалиться в открытую дверь, кое-как втаскивая за собой ноги. Глубокий, параллельный полу, выдох. Сколько нужно сил, чтобы вскарабкаться на свою постель? Еще один слабый выдох. Таких сил у меня уже нет. Голова падает на скрещенные руки. Не перекрестившись, я засыпаю.

II

Гроб.

Похоронный мотив геометрической формы. Постоянная декорация однообразного музыкального предисловия длиною в жизнь. Ежедневный черствый хлеб и кошачьи сардины в масле. Я просыпаюсь от ощущения, что лежу в гробу, плюс от лунного света, падающего из не зашторенного окна. Я сразу понимаю, что нахожусь дома. Горло выложено изнутри наждачной бумагой. Голову не дает поднять яркая луна. Я перекатываюсь ближе к двери и всей тяжестью античной позы отрываю часть своего тела от намагниченного пола. Так можно было бы лежать долго, медленно приходя в себя. Но очень хочется пить. Нужно прополоскать рот. Во дворе на столе еще есть граммов сто водки. Я рывком встаю и, держась за дверь, постепенно достигаю равновесия. Болит разрезанная жестью ладонь. Башка раскалывается. Зачем вчера я столько времени просидел на солнце? Испортил себе день рождения. Головная боль стекает массивной волной вниз, рассасывается по всему телу, заражая каждый мускул. Водку я выпиваю мелкими глотками прямо из графина. Прохладную, выдохшуюся, безвкусную, последнюю. Противно, но сейчас полегчает. Отяжелевшие конечности в прямом разладе с мозгом. Я скручиваю сигарету из остатков отравленной воли. Сейчас наверняка полегчает. Луна высвечивает граненое стекло. Рассвет еще не скоро. Пока люди спят, можно прогуляться.

Окончательно убедившись, что рубашка и брюки застегнуты на все пуговицы, я дергаю на себя ручку калитки. Луна световой пушкой преследует мой выход. Куда? Нужно выбрать направление. Нужно успеть до рассвета вернуться. По привычке делаю первый шаг в сторону кладбища. Дорога петляет между прижатыми к земле домами, пересекает ночную географическую карту местности. Через каждый квартал я останавливаюсь, затаиваю дыхание, прислушиваюсь. Потом ускоряюсь опять. Ни звука, ни легкого дуновения ветра, ничего. Пустота нежно обволакивает несопротивляющееся тело. Для разнообразия я иногда трясу головой и вижу, как лихорадит мою тень. Я и сам тень, будто покойник, выпущенный во тьму, на свободу, до утра, и вот, тороплюсь назад, в свою зону. Без опоздания.

Дорога на кладбище. Почему я спешу? К кому? Я в первый раз выбираю этот короткий путь, на всем протяжении которого еще не звучала моя труба, по которому торжественно еще не проплывал гроб на плечах тихо чертыхающихся мужчин. Облако-бельмо гасит на несколько секунд освещение. Расстояние между дворами начинает увеличиваться. А некоторые дома вообще загадочно исчезают в глубине черных садов. Теперь уже не ошибиться. Кладбище приближается угрожающе быстро. Вот и стена. Зачем я сюда пришел? Надо вернуться домой. Я не запер ни дверь, ни калитку. Почему не принял таблетку от головной боли? Очень хочется пить. Кто ночью мог сюда меня позвать? Искать ответы бессмысленно. Я взбираюсь на

полуразрушенный каменный забор и, не раздумывая, сваливаюсь по ту его сторону.

Падаю в заросли бурьяна, в густую шелестящую траву. Уши закладывает, словно ватой. Перед самым носом возникает рослая гранитная пирамида. Я огибаю ее слева, отряхиваю раненой рукой брюки от прилипших колючек. Кого бы спросить, чего я сюда пришел? Я вглядываюсь в темноту. Ночь застывает, как гипс, кем-то облитый золотистой лунной жидкостью. От светящегося желтого яда болят глаза. Несколько шагов-усилий, и я выхожу из зарослей, выползаю из-под занавеса. В этом освещении кладбище напоминает свалку обглоданных костей, равномерно разбросанных в виде крестов по всем полянам поредевшего доисторического леса. Где-то здесь должна расти дикая груша.

– Серафим!?. – меня окликнули.

Я, кажется, ждал встречи. Но еще не знал с кем.

– Что ты здесь делаешь?..

Я оглядываюсь.

– Как ты сюда попал?..

Я не могу выдавить из себя ни слова.

– Серафим, неужели это ты?..

Стенки горла становятся еще суше, начинают шелушиться. Я хочу пить. Я хочу водки. Голова теряет в пространстве точку опоры.

– Господи...

Я молчу. Передо мной стоит мой тезка. Друг детства и дальний родственник. Выглядит, как в тот год перед его смертью.

– Серафим...

Я четко слышу свое имя, но с трудом произношу слово «да».

– Я тебя сразу узнал... Прошло столько лет...

– Да...

– Ты сильно изменился...

– Да...

– Тебе уже много лет...

– Да...

– Ты меня узнаешь?..

– Да...

– Я – твой брат...

– Да...

– Я – Серафим...

– Да...

Он подходит. Я вижу его лицо. Он – живой.

– Что тебя сюда привело?..

– Не знаю...

– Ты никогда здесь не бывал днем... И вдруг – ночью...

– На кладбище я бываю почти каждый день...

– Да, я всегда слушаю твою трубу... Но в этом заброшенном

углу ты был только один раз... На моих похоронах...

– Это правда...

– Узнаешь дерево, которое тогда посадил мой отец?.. – Серафим кивает на толстый ствол дикой груши.

– Нет...

Боже мой, прошло более двадцати пяти лет... И я никогда сюда не приходил... Я запрокидываю голову и вижу, что дерево цветет. Огромный сиренево-розовый купол. Лоб и шея становятся мокрыми. Даже нет носового платка... Хочется пить. Нужно выпить хоть рюмку водки. Пить... Более двадцати пяти лет... И я никогда не приходил...

– Ты очень взволнован...

– У меня сегодня день рождения...

– Уже – вчера...

– А ты помнишь...

– Когда-то это был мой любимый праздник... В этот день начинались летние каникулы...

Я рукавом вытираю мокрое лицо.

– Недалеко отсюда могила твоего отца...

– Я з-знаю... Но я больше не хочу никого видеть... Я сейчас ухожу...

– Подожди... Ведь ты уже никогда сюда не придешь...

– ...

– Тебе плохо... Потерпи...

Серафим подходит ко мне совсем близко, и я вижу перед собой совершенно голого подростка.

– Почему ты голый?..

– В моем мире одежда не нужна...

– А где школьный костюм, в котором тебя хоронили?..

– Сгнил...

– Одень что-нибудь...

– У меня ничего нет...

Я снимаю свою рубашку и протягиваю Серафиму. Она ему настолько велика, что закрывает тело почти до колен.

– Если бы я дожил до твоих лет, и у меня были бы такие же широкие плечи... Как у тебя...

– Оставь рубашку себе, если хочешь...

– Зачем?! Она здесь тоже сгниет...

– Но...

– Здесь гниет все, что не имеет духа...

– Тогда возьми мой крест...

– ...

– Не бойся...

– Не надо... Тебе он нужнее... Свое я уже взял...

Я опираюсь на ствол дикой груши. Хоть бы подул легкий ветер.

– Тебя мучает жажда... Я принесу тебе попить...

Не теряя опоры, я присаживаюсь на корточки. Как когда-то в детстве.

И надо же было попасть в этот кошмарный сон... Что я здесь делаю?.. По возрасту мы отец и сын... Друг другу чужие... Он остался

таким, каким я его забыл... Детские сантименты для меня мертвы... Мы были одинаковы... Сейчас я всего этого не понимаю... А был бы он похож на меня теперь, если бы остался жив?.. Почему я предложил ему свой крест?.. Зачем ему мой крест?.. Какой смысл во всех этих разговорах?.. Пить... Хочу пить...

Серафим приносит металлическую кружку воды.

Я выливаю воду в глотку.

Серафим присаживается напротив.

Вода меня не спасает.

Серафим рассматривает мою небритость.

Я вижу его глаза, его скулы, его губы.

Серафим пытается улыбнуться.

Я признаю детали его лица.

– Почему у тебя накрашены губы?..

– Это все из прошлого...

– Из какого прошлого?..

– Хм... Когда меня привезли из морга, последнюю ночь я лежал дома... Моя тетка, ты ее знаешь, сестра матери, просидела со мной целую ночь... Мы были одни... Она несколько раз переключала мне руки, пудрила щеки... А мои губы показались ей настолько бледными, что она подвела их своей губной помадой... С тех пор все так и осталось...

– ...

– А уже мертвого ты меня не видел... В те дни ты почему-то к нам не заходил, хотя я ждал тебя каждую минуту... Потом на похоронах в оркестре вдруг не оказалось трубача, и тебе пришлось его заменить... Ты согласился, не раздумывая... Среди родственников тебя не было... Так мы с тобой и не встретились... Это были твои первые в жизни заработанные деньги...

– Хватит!..

Я медленно встаю и поворачиваюсь лицом к стволу. Мучаюсь ли я? Мучает ли меня совесть? Нет. Меня мучает жажда.

Серафим внизу, за спиной.

Я обнимаю дерево, хотя было бы логичнее обнять брата.

Серафим молчит.

Как мне нужен сейчас стакан водки!

Серафим тоже встает.

Я сжимаю дерево с такой силой, что оно трясется в моих объятиях.

– Сейчас принесу еще воды...

– Нет!!! К черту!!!

Исцарапанные в кровь руки и грудь отрываются от дерева.

– Успокойся...

– Все к черту!!!

– А помнишь?..

– Нет!!! Не помню! Забыл... Все и всех... Не хочу помнить... И не хочу, чтобы помнили меня!..

– Я хотел сказать о другом...

– Не надо ничего говорить... Ты – мертвый... Слышишь???

Мертвый!!! Тебя – нет... Ты потерялся среди мертвых...

Сухие губы горят. Мокрое лицо пропитывается солью. Соль попадает во все ссадины и раны. Как облитое бензином, изуродованное тело вспыхивает.

– Найди где-нибудь водки.

– Ты...

– Хотя бы...

– Ты сошел с ума...

– Да, я – сумасшедший... Но только потому, что разговариваю с мертвым... Потому, что стою рядом с мертвым...

– Серафим...

– Да, да... Ты – мертвый... И не жди меня к себе скоро...

– Будь я живым, мы бы с тобой и не встретились...

– Нне-е-ет!!!

Внезапный ветер вырывает из моих уст последнее слово и, как доказательство моей уверенности в собственной правоте, уносит вверх. Весь мир – свидетель. Весь мир – внимание. Весь мир слышит мое убедительное «нет!». Никто не смеет со мной спорить. Никто не смеет мне перечить. От неразборчивых замахов рук меня швыряет в разные стороны. Это еще раз подтверждает, что я – живой. Для всех и для себя. Живой для своего Луки и рыжего петуха. Живой для своих завтрашних покойников. Ноги сплетаются с бурьяном, вырывают его с корнями. Земля содрогается. Тошнит. Судороги раздирают скрученное горло. Глаза наполняются разноцветными слезами. В основном черными и желтыми. Не от обиды или пьяной жалости. От физической боли. Луна обильно освещает мое согнутое тело. Я медленно остываю. Я застываю, как ночь. А порывы ветра продолжают безжалостно срывать бледные цветки дикой груши. Они обреченно падают, застилая траву. Ветер все усиливается. Ветер не терпит возражений. Моя статуя тонет в розовом цвете. Кто меня сюда позвал?.. Как зовут того, кто меня позвал?.. Как зовут меня?.. Я не придумываю ответы, и они вряд ли сейчас нужны. Воздушная масса все тверже упирается в грудь. Меня выталкивает из моей же памяти. Меня выдувает из моего же прошлого.

III

В перевернутом до оскорбления доме – абсолютная тишь. Запах бедности и разбросанных по комнате окурков. Водки не оказывается нигде, даже в самом потайном стенном шкафу. Ее и не может быть. Она – выпита. Во славу здоровья и долгих лет жизни. Во имя праздника и любви к себе. Таинственный Лука растерянно бродит среди битого стекла и перевернутых ящиков, изумленно озирается по сторонам. Сейчас ему больно за своего хозяина: хозяину – плохо. Утро

еще не наступило. Оно прячется за деревьями и домами черной улицы, боясь выйти из укрытия слишком рано, боясь высветить сегодняшний день продолжением вчерашнего. Но удастся ли что-нибудь изменить? Нет, можно только потянуть время. Можно только попрердержать дверь.

Я лежу на постели наискось – отшлепанное в воде раскаленное железо.

Дымящееся в пару-поту тело.

По всем углам одновременно мелькают похожие друг на друга сюжеты ада.

Я – в аду.

Стоп-кадр: я – в кино.

Сплошная дождевая масса жидкого бетона. Издевательский смех виолончели под ударный аккомпанемент ливня. В непредвиденных паузах – солирующее карканье невидимых ворон. Бесконечная сумма периметров враждебных мне звуков. В предутреннем тяжелом сне всякое случается. Меня забрасывает на макушку старой могучей груши, увешанной крупными созревшими плодами, похожими на маленькие заводные виолончели. Инструменты-лилипуты с задором орудуют лихими смычками, и дождь оркестру – не помеха. Тоска и тревога беспрепятственно достигают границ страха и отчаяния. Вокруг дерева кривыми плотными кольцами, в ногу, вышагивает дружная толпа калек и нищих. Я узнаю в них своих соседей. Они держатся за руки и периодически в едином движении вскидывают грязные лохматые головы вверх: «Теперь тебе не уйти!» Прежде чем загнать сюда, они сорвали с меня одежду, зарыли ее глубоко в землю. Я – совершенно голый. Обтянутые бурой гусиной кожей кости трясет от холода. Меня трясет от животного ужаса. Враги трясут дерево. Сквозь зловещую музыку и дождь все отчетливее слышатся писклявые выкрики-угрозы, выкрики-обвинения, выкрики-приговоры. Уроды видят во мне своего убийцу, жаждут моей крови, требуют моей смерти. Я не имею к ним никакого отношения. Они меня ненавидят по ошибке. Охотиться нужно за кем-то другим... До икоты хочется пить. Оказывается, жажда мучает не только в жару. Я задираю открытый рот к небу, но все капли летят мимо. Я складываю вместе ладони, опять – мимо. Я ищу глазами Бога. Мимо. *У рода нет начала. У рода есть только конец.* Мне страшно от высоты, и я стараюсь вниз не смотреть. Только бы не упасть! Но куда спрятаться от разъяренного сборища? Вот если бы сейчас хватило сил взлететь. Неужели меня принесут в жертву? Чему?..

Я переворачиваюсь на левый бок.

Глаза иконы смотрят на меня.

Без обратной связи.

Чья-то длинная рука хватает меня за горло. Я не могу отбиться.

Ветви изгибаются: вот-вот упаду...

Глаза иконы смотрят на меня.

Сводящий с ума вой виолончели заглушает мой вой. Хруст веток...

Я проваливаюсь в реальность.

Я кричу от страха.

– Лука!.. Лука!..

Кот запрыгивает ко мне на кровать.

– Лука!.. Священника...

Глаза кота смотрят на меня.

Я сталкиваю кота на пол.

– Священника...

IV

Нет, в эту ночь я не умер. Как не умер и в следующую. Кот утром убежал и больше не вернулся. Петух не вынес одиночества, через месяц сдох. Я же прожил еще одиннадцать полных лет и тридцать четыре дня.

1988

О ГОСПОДИНЕ П., ОДНАЖДЫ МЕНЯ ПРЕДАВШЕМ, И О РЕЗЕРВЕ СОБАЧЬЕГО ОБАЯНИЯ /СОН В ТЕПЛУЮ СИНЕ-ЗЕЛЕНУЮ НОЧЬ В КЮЛОНГСБОРНЕ/

Ищу в себе замену снегу...

Толкнувший на предательство,
однажды сам споткнется о труп
предателя.

При чем здесь женский смех?..

Весна пробивается. Воинственно, наотмашь, хотя и с трудностями, почти революция, вопреки электрической асимметрии полуночных звезд, смешиваясь в свободной пропорции с термометрной ртутью. Пробивается безнаказанно, сквозь взрыхленные бумажные сугробы облаков, сквозь черноту пятнами оттаивающего к полудню асфальта, сквозь густое молоко уличных испарений; запутанными петлями-струйками размороженной сырости разливается под тяжелыми сапогами без усталости шагающих. Весна происходит за час до срока, глубоко вдыхая, выглядывает из проруби, готовится к прыжку. Законнорожденная, но не вскормленная грудью, беспризорная. Весна пробивается. Без своего привычного аромата и цвета, без отглаженной выправки прохожих, не взбадривая своим накрахмаленным светом развешенные над головами пешеходов не чувствительные к холоду портреты, не прославляя слепое будущее, без гомеопатических предсказаний и интригующих рецептов, не останавливая уличное движение, без лихорадочно-нетерпеливого автомобильного перезвона, местами задыхаясь в рваных безвоздушных дырах, без громоподобного литого хохота и молитв, больше напоминая своей походкой беззвучные судороги прошлогодней осени, юридически утверждая свою несвободу. Сегодня она – пунктирный отрезок в вакууме. Никто не опаздывает к точно назначенной встрече, не поднимает брызги луж, не теряет развязанных шарфов, не вспоминает на ходу забытых продуманных оправданий, не срывает с головы шапку и не летит свободным. Весна еще не укрепились и не очерчивает вокруг себя циркулем с яркими дроблеными мелками амфитеатр. Ветхие декорации заменять нечем. Деревья по-прежнему забинтованы колючей проволокой, и до зелени еще далеко. Облезающая известь когда-то выбеленных по пояс стволов. Запах старых одежд и свежеработанной кожи. Прыгающий треск нудящих патефонных вальсов. Серо. Весна только-только пробивается, и никто не может ее в этом упрекнуть. Ничейность – временная привилегия нового пола. Сегодня весна – еще ничья. Первой ее ощущают

натруженные ноги, в тени тротуаров снежный скрип становится мягче, керамические копии одинаково грязных следов отпечатываются четче, медленно подтаивают, а то и вовсе расплываются, без внутреннего подогрева. Из верхних уголков окон первых этажей, как из воспаленных глаз, извилисто и тягуче стекает грязь. Стекла превращаются в зеркальную паутину трещин. Стоит к ним лишь прикоснуться, и остаток зимы легко соскальзывает вглубь стареющих домов. Правда, ночные всплески ветра, меняя тембр от тенора до баса, пытаются остановить беспорядочно-тихое отступление холода, но днем уже можно украдкой погреться на слабом солнце; прошлогодняя лень осторожно просыпается, и опять хочется еще немножко пожить. *Весна пробивается.* Как представление воли. Не зная меры, выкручивая последние силы из переходного равнодушия, перепрыгивая через остроконечные чугунные решетки и посыпанные битым бутылочным стеклом клумбы, смело перебегаю улицы на красный свет и проворно ныряю в каждый узкий переулок, будто впервые оккупируя все новые и новые кварталы большого беззащитного города. Весна понемногу набирает ход, отдыхая, присаживается на корточки, поворачивает всех к себе лицом, бесстыдно заглядывает в глаза, раскачивая массивными бедрами, подмигивает, дразнит ломкими изгибами своего нетронутого, хотя по сути порочного тела. Весна себя предлагает. Навязчиво. Безвозмездно. Без предубеждения. *Весна пробивается.* Эта календарная новость в движении сразу выпукло и четко определяет всеобщую стратегию на межпогодное противостояние – все готовятся к весне. Сегодня – мыслями, завтра же тело неожиданно обдаст шквалистым теплом, воздух превратится в подслащенную воду, все живое беспрепятственно вырвется из своих домов и загонов под желтые конусы первого дождя – возбуждать весну. Взрыв – неизбежен. Но надо удержаться на ветру, связать в железный узел сухожилия и нервы, вцепиться ногами в землю, довериться собственным глазам. *Стихия – злорадствует. Стихия – интерпретирует. Стихия – оратор.* Слабеющей зиме, как и озябшему прошлому, грозят измена и безупречное забвение. Зима – под снайперским прицелом. Ей вменяется в вину безволие и дряхлость. Ненужность. Месть очевидна. Кем-то брошен алюминевый жребий. Без предупредительных выстрелов. Без запахов костра и старомодных воплей. Без восклицаний. Многочисленные посмертные гипсовые маски поочередно разбиваются о гранитную стену. Сбегая вниз по отполированным ступенькам бесконечной винтовой лестницы, пустое эхо кодируется в сложную алгебраическую формулу. Без задержки. Презумпция виновности – феномен нового откровения. Возведение в степень скрупулезно определяет приговор, в односложном приказно-устном варианте. Срочное публичное приведение в безнаказанное исполнение ожидается. С патологически обостренным нетерпением. Во всеуслышание провозглашается смерть. С пафосом. Весна уверенно

пробивается. С отколовшимся углом надежда вновь мучительно обретаем, да-да!!! обретаем, свой потемневший от времени крест.

Мое представление обо всем, каким оно должно быть, явно мешает мне наслаждаться тем, что оно вообще есть.

В атмосфере – аномальные явления: совсем не пишутся стихи.

Я лежу в закругленном углу своей просторной цементной конуры, на принесенном с помойки бордовом пиджаке, подальше от надоедливой сквозняки, уткнувшись носом в дырявую атласную подкладку. С закрытыми глазами, без света, с зашторенным окном, с незапертой дверью, не подавая минимальных признаков жизни. Уши напряжены, антенны вслушиваются, вслушиваются в окружающую опасность беззвучия, в неизвестные новые аккорды, долетающие из так резко меняющегося внешнего мира. Уши – очерченная часть тела. Уши – внутренняя часть меня. Уши – вне меня. Два средневолновых приемника, всегда готовых к активному пассивному соучастию. Пока подслушивание – безрезультатно. На декоративном флаштоке – покой. Я – под давлением этого закругленно-цементного покоя, ничего не предвещающего и не обещающего. Растворяясь в нем, я бальзамирую свое татуированное воображение, изредка перебирая четки давно забытых физических ощущений. В свете экрана. Раннеутренний сеанс в кинотеатре. Вход свободный. До мечтаний о кружке горячего молока и куске хлеба. Под паром собственного ровного дыхания. Я – перед экраном. Я – *на экране*. Я – туго смотанный клубок. Из рыжих нервных нитей и мохеровых клочьев. Внутри меня даже тепло, и никто не лезет мне за пазуху. Кажется, кровь циркулирует по сдавленному замкнутому кругу, соединяя одним термососудом голову и ноги. Сколько градусов по Цельсию? Наверное, гораздо больше, чем на улице. Тепло вопреки. Снаружи, по спине, медленно карабкается холодок, по дергающейся диагонали снизу вверх, против шерсти, по ложной тревоге зарывается в шерсть, беспричинно и бесследно тает. Пластинка льда, спиралью плавающая в невесомости. Но не во мне. В правом боку колет. Я облизываю горячим языком пересохшие губы и нащупываю согретой ладонью вне грудной клетки больное место – треугольник, делаю пробу на боль. Ее появление довольно дерзко, но хочется ее вытерпеть и скорее к ней привыкнуть, забыть. Боль – перед экраном. Боль – *на экране*. Хочется ее обезболить. Хочется ее без снотворного навечно усыпить. Хочется еще подремать. Хочется.

Вчера неожиданно повезло досыта поесть – сегодня можно дольше поваляться в субботней постели. Только после обеда начнет

приставать солнце. Только после обеда подтаает шершавая от красного песка корка снега. Только после обеда появится новый шанс опять что-нибудь съесть. Торопиться некуда. Торопиться незачем. Хочется в подробностях вспомнить предрассветный коричнево-белый сон. Хочется в подробностях разгадать все его скрытые значения. Хочется.

Становясь на колени, подумай, сможешь ли ты с них встать.

Приблизительно есть жертвы – приблизительно много.

Центральная улица неизвестного голодного города. Час пик. Не знаю почему, но я ощущаю город израненным, изрытым оспой и голодным. Эпидемия голода. Нищета и отчаяние под ярким солнцем. Перспектива и сила, выжженные сварочным аппаратом. Разрывающаяся масса голодных, липнувших друг к другу существ, будто порциями жидкого шоколада заливает каменный желоб пространства. И я – в этом потоке. Я иду. Я плыву. Я ползу рядом с собой. В плотном окружении двойников. В неизвестном направлении. Но, кажется, вперед. Залегаю среди остывших трупов. Сгорбившись, пытаюсь встать, поскальзываюсь. Снова пытаюсь. И снова поскальзываюсь. Вокруг меня – только отражения моего лица. В окнах – те же, мои, лица. Покрытые орнаментом глубоких морщин. Черты некоторых из них до уродливости укрупнены. Под глазами черной краской намалеваны слезы. Толпу рассекает косяк голодных возбуждений. Неумная злоба. Все толкают друг друга локтями и невнятно выкрикивают оскорбительные проклятия. Постоянно сужающийся остров в море мертвого города. Постоянная зеркальная ненависть, отражающаяся во всех глазах. Атмосферные волнения и агрессия нарастают. Замахи становятся ожесточеннее. Скрежет рывкамидвигающихся суставов – все громче. Кажется, что они вот-вот переломятся. Я перестаю чувствовать собственное тело. Оно склеено из разных частей чужих тел – коллаж. Пересадка чужого сердца и чужих туберкулезных легких. Чужие ноги и чужие мысли. Чужой кашель и чужой гастрит. Параллельность сумасшествия и пустого желудка. Я откусываю кусочки своих чужих губ, расплевываю их по сторонам. Постоянное предчувствие реальной голодной гибели. *Преимущество умереть первым.* Постоянно откладываемое твердое решение бежать. Куда? Но как иначе выбраться из этой лавины? Как выбраться из этого стереоскопического ада? Выбраться невозможно. Сквозь обморочное скопление тел не пробиться: бессилие. Уши закладывает от импровизированного воя сирен «скорой помощи». Кто-то сверху, с крыш, бросает тяжелые промокшие бумажные пакеты и мешки. В них – еда. Паника сменяется всеобщим стоном. Кем ниспослано это спасение? За чей счет оно и чем придется

расплачиваться? Хватит ли на всех этой брезгливой щедрости? Костлявые руки клешнями тянутся за рваными кусками свежего мяса. Руки трясутся даже у бездыханно лежащих на камнях. Бледно-коричневый пенящийся сок вперемешку со слюной стекает по вмятым подбородкам. Беззубые рты вертикально растягиваются в испуганном довольствии. Ради этой минуты стоит жить. Ради этой минуты стоит умереть. *Чужой голод.* А что будет потом, после голода? Что будет после сытости? Мясо не жуется – мясо заталкивается в глотку и с трудом проглатывается, не перемалываясь. Еще никто не знает, что оно отравлено. Кто он, не пожалевший яда? Набитые свинцовые животы тянут своих хозяев вниз, к земле. Первых начинает тошнить. *Преимущество умереть первым.* Привилегия заложить прочный фундамент. Вой сирен сменяется нежным смехом и губной гармошкой. Падеж скота под легкий интимный джаз. Рвота никому не приносит облегчения. Все падают тут же, друг на друга, не извиняясь. Из окон вываливаются новые трупы, как мешки с едой. Гора появляется на глазах, растет угрожающе, становится выше домов и облаков. Я лежу на заснеженной вершине этой многоступенчатой пирамиды и чувствую, что умираю. Я наблюдаю коричневый закат из детского пластилинового мультфильма, приближаясь к покою. Мое тело отражается в нарисованном мраморном небе. Мое нутро ощущает вкус сыпучего грунта. Белые, с продырявленными на скорую руку глазами, маски заводят вокруг пирамиды прощальный хоровод. Чьи-то губы продолжают щекотать гармошку. Извечный праздник. Ради этой минуты стоит жить. Ради этой минуты стоит умереть.

В правом боку колет. Боль не проходит. От повторного просмотра сна становится противно и тревожно. *Чужой голод.* Извлечение квадратного корня из чужого голода. Я перегруппировываю свои мысли, я перегруппировываюсь перед экраном, в два приема я перегруппировываю свое тело и, не озираясь по сторонам, забиваюсь дальше в угол. Иногда хочется забыть, что ты есть собака, и помечтать о чем-то вечно теплом и вечно сытом, навсегда вычеркнуть никчемный холод и зиму из своей жизни. Слава Богу, болезненное развитие беременности привело к родам — весна пришла. Я – весной. Я – собака. Я – сука.

Определение истины – в ее полном отсутствии. Вскрытие докажет.

Заранее течет слюна.

Осторожным толчком правой ноги открываю дверь нараспашку и окатываю себя бездонным ушатым свежего воздуха. Дрожь сотрясает воскресшее тело. Вибрация достигает пика. С век смываются хроническая тяжесть и грязь. Вроде бы сегодня намного теплее, чем

вчера, но все равно знобит. Вытянутый нос учащенно бьет током. Я сосредоточенно и углубленно дышу. Язык намертво приклеен к небу. Или прибит. Произнести бы хоть слово. Как прервать многомесячное молчание? Как научиться заново говорить? Стреляющая солнцем и каплями с крыш алмазная прохлада. Истерический хохот оживших водосточных труб. Естественное освещение пятиэтажных торцовых стен, не наблюдающих за мной. Старость двора, на мгновение замирающая в своем движении. Летаргическая надежда на обратный ход. Слезоточивая надежда на придуманный рай. *Я дышу*. Чистота и легкость вдоха. Надутые одним сверхглотком впалые щеки лопаются нелепым глухим хлопком, как толстокожий новогодний мыльный пузырь, без постороннего вмешательства. *Высекание искр из мыльного воображения*. Язык неожиданно отклеивается, подвешенно болтается во рту. Сердце маятником болтается в грудной клетке. Сомнения рассеиваются паром изо рта. И вдруг хочется засмеяться. Хочется засмеяться над собой. В одиночестве и пустоте. Громко-громко. На все пять этажей двора и всю улицу. На весь мир. Реанимация прошлогоднего зла и юмора. Стартующее восстановление прошлогодней остаточной энергии. Да, очень хочется засмеяться. Но к чему? Городской собачий лай воспринимается однозначно, без фантазии и перепрыгивания нот. Никто этого не понимает. Никому это не нужно. К тому же тишина только приобретает свой девственный нежно-желтый, с разводами, цвет, и пока не надо ее надрывать. Не надо никого тревожить и пугать. *Я дышу*. Улыбаюсь, делаю еще один сверхполный вдох, круче подтягиваю скулы, фиксирую произвольную улыбку, выпячиваю ее врагам на обозрение. Рисунок лица готов превратиться в маску, но я не даю ему застыть. Среди собак принято считать, что собачья жизнь полностью зависит от самой собаки, и потому я отчаянно вытягиваюсь во всю наклонную длину ворсистого позвоночного шпагата на трех отбитых кирпичаступеньках, оставив за порогом в подвальной конуре кривые, похудевшие за зиму, ноги – в блаженном напряжении, как в последний раз. Независимость, звенящая хрустом собственных костей. Независимость, жадно черпающая весну и кислород из общего коммунального котла. Независимость, шепотом отрешивающаяся от коричнево-белого прошлого. *Независимость*. Чем ее измерить? Хочется крикнуть. Но боюсь, что не будет ответа. Как услышать чей-нибудь голос? Суббота еще под замками. Поздние завтраки еще не окончены. Кофе и молоко до дна еще не выпиты. Хочется крикнуть – неконтролируемое происхождение первого звука. Непредсказуемая настройка голосовых связок. Бесперывный иголочный писк. *Я – ас т м а т и к*. *Я дышу*. *Я слышу себя*. Из всех открытых окон фальцетом вырываются последние радиоизвестия: весна активно вооружается. Метеорология торжествует. Приблизительные прогнозы хитроумных приборов оправдываются. Знак минус навсегда вычеркивается из дневных информационных сводок. Впереди – жизнь. Но не нужно забывать, что с окончательным наступлением тепла

начнется сезонный отлов собак. Впереди – весна. Как бы не угодить в мешок и не отправиться на свалку. Я слушаю свой голос и неуверенно разминаюсь перед выходом во двор. Холостая тишина укачивает, и немного кружится голова. Приходится заново учиться передвигать ноги. Заново обретать нюх. Ведь каждый угол уже готов заново открыть свое лоно. Ведь весной все начинается заново. Предо мной – цирковая арена. А значит, и я стану мишенью для взоров. До сих пор жизнь здесь была в безопасности. Сегодня приостанавливаются полномочия зимы. Вот-вот барабанная дробь заглушит некогда панический оркестровый марш. Оживают чучела пеших ворон и голубей. Из окон снегом летят крошки черного хлеба. *Я дышу*. Ничто не связано единым бременем. Стихия подчиняет. Двор – на окраине бытия. Я – на окраине двора. Весна – на окраине меня. И все же я не рискую переступить порог. Непонятная сила меня останавливает. Под соседним забором промелькнули чьи-то уверенные ноги. Или мне показалось?

Заключение врача: ложь
повышением температуры тела не
сопровождается.

– Тюльпан апрельский осенью
расцвел.

– ...

– Да-да, я правду говорю.

– Какая глупость...

Оторвав сургучные пятки от смещенного центра тяжести земли и слегка согнув ноги в острых коленях, я нахожу себя в шелушащемся сегменте бывшего трельяжного зеркала. Без имени. В скромном интерьере своего неуклюжего дома. С оббитым досками, в лишаих, потолком. Пренебрегая строгими правилами светомаскировки. После молчаливо-вкопанной вступительной паузы я ленивыми взмахами рук поправляю взъерошенные весной волосы. Втягиваю шею, приговариваю. Придаю волосам форму. Свободную. Закрываю глаза двумя руками. Небрежно откидываюсь назад. Хватаю себя за нос. Прячу нос в кулаке. Без уважительной причины не отпускаю. Улыбаюсь. Не моргая и не глотая слюну, вглядываюсь в пугающую будущим глубину абсолютно круглых черных зрачков. Не обреченно. Определяю степень своей внимательности. Не нарушая единства впечатления, определяю степень своей искренности. Способно ли движение, превращаясь в новое движение, достигнуть бесконечности? *Я изучаю свое лицо*. За последние четыре месяца появилось несколько новых морщин. Самых обыкновенных, очередных, заметных, убедительных. Без увеличительного стекла я ищу их запутанные истоки. Пересохшими вьющимися нитями старой пряжи

они виновато подкрадываются к уголкам сощуренных глаз, сливаясь в единое узкое русло, с повторной попытки обрывисто впадают в прополощенные новой прохладой белки. Оттуда же они, не задерживаясь, и вытекают. Самые обыкновенные, очередные, заметные, убедительные. Интенсивными хирургическими движениями пальцев я насильственно подтягиваю кожу, тщательно расправляю, отглаживаю. Бесплатный косметический массаж прожитого. Косметический массаж для будущего. Геометрический узор противоположного лица изменяет рисунок, хотя, на первый взгляд, ничего не меняется. Глаза и нос остаются на месте, губы упорно маскируют не от злобы стиснутые зубы. От сосредоточенности. И мне кажется, весна такому лицу идет больше. Освежая, бескорыстно придает ему скромное чувство естественности, чувство далекой, но все же родственности пробуждающейся природе. Даже в поздние вечерние часы, когда на улице уже темно, пусто и первые бледные цветные пятна без остатка растворяются в мутной жидкости ночи. *Новое выражение.* Новое предположение. 22.30. Весна бродит новой свежестью. С улицы несет сырой известью. В обмен на несколько пятен скудного домашнего света. Новое отражение. В моем взгляде отражаются перевернутые горящие свечи. В зеркале отражаются четыре свечи. Упрямые пальцы, как оклад иконы, поддерживают гладкость обжигаемой язычками пламени кожи. Авторский портрет не в авторском исполнении. Без имени. Реалистическая живопись под дребезжащий звук отодвигаемого ногой табурета. Публичное признание. Без аплодисментов я зажигаю еще одну свечу. Самую большую. Декоративную. Последнюю. *Пусть будет светлее. Пусть будет много света. Пусть будет светло.* На стене, рядом с фотокарточками чужих исторических деятелей, появляется еще одна, вытянутая тень. Самая большая, мигающая. У нее тоже есть свое немое лицо. Свои стиснутые большие зубы. Свой нос и свои глаза. Свои морщины. Обыкновенные, очередные, заметные, убедительные. Тень раскачивается. Размахивает крыльями, пытается поймать равновесие. Я усаживаюсь на треножный табурет – постамент. Ощущаю себя историческим деятелем. Поудобнее зависаю в центре пространства, поджав под себя ноги. Тень повторяет в такт все мои изгибы и наклоны. Я слышу вздох тени. Чувствую в себе горящие угли. От переизбытка собственной значимости я воспламеняюсь, жар распространяется за пределы тела. Жидкая известь стекает со стен полтом. Зарождение личности. Посягательство на вечность. И вдруг!.. Короткое электрическое замыкание! Принудительное приглашение к страху! Я не могу повернуть голову. Я не хочу поворачивать голову. Я боюсь оглянуться. Я боюсь. Я придвигаюсь ближе к грязному зеркалу. Сквозь грязную прозрачность моего лица я наблюдаю: под освещенным прожектором соседним забором появляются чьи-то уверенные твердые ноги. Я их узнаю. Неужели он так быстро вернулся? А может быть, он никуда и не уезжал? Почему он в городе? Когда он вернулся? Ни разу не зашел.

Ладно, через пару дней все станет ясно. Может быть, его нужно грамотно подкараулить? Подстеречь. Хорошо организованная случайная встреча. Хорошо отрежиссированный экспромт. Нужно все детально обдумать. Я тоже умею вычислять. Пытаюсь себя успокоить. Не убедительно. А если это не он? Нет, не может быть. Ошибка исключается. Совершенно точно. *Я себя успокаиваю.* Небрежно, но зло. Это были его ноги. Железные кости его ног. Я себя успокаиваю и поворачиваюсь на 180°. Вместе со мной поворачивается и моя тень. Она с вытянутой шеей тоже только что кого-то искала. Однако нервы не выдерживают. И снова прежний обзор. Снова четыре глаза впиваются в полосу прожекторного света. Жалобный со свистом вздох: никого. Ни-ко-го! Бескислородная пауза. Даже если он и шел мимо, в такое время он не придет. Уже поздно. Придет ли он вообще? Все может быть. Может быть, завтра мы увидимся. Может быть, сейчас он обо мне думает. Может быть, готовится к нашей встрече. Я себя успокаиваю и медленно возвращаюсь в предыдущую позу. Я себя укоряю. Стыдясь своей торжествующей беспомощности. Он, наверное, торопился к ужину. Его строгий распорядок дня. Каждый час расписан. В строгом доме – строгие законы. Стоп!!! Хватит об этом... Подумать бы о чем-либо другом. Но о другом, увы, никак не думается. Мысли рассредоточиваются медленно... Правое ухо первым фиксирует внешний, тревожно накатывающийся, шум. Там посреди улицы обрывается дикий рев. По звуку заглохшего мотора я вычисляю, что в пятидесяти метрах от дома остановился автомобиль. Я доползаю до открытой двери. Мерцающая белой масляной краской тишина. Отрезвление наступит нескоро. Юпитерова ночь презирует меня своим дымящимся черным небом. Я – без дыхания. Я – без движения. Я – в ожидании. Я – восковая фигура.

А я лежу в безлюдной церкви, без вести пропавший.

Я слушаю клавишин. Я слушаю клавишин на исходе страха и непокоя. Заливаю звуками свое одиночество. Корелли заливают нотами мою пустую бессонную ночь. 22.30. Отраженное в зеркале время покоится в верхнем регистре. Власть стиля, заговоренного от плановой беды, заговоренного от жизни и смерти, поднявшегося из доХристовой глубины и застывшего на кончике ножа. Часы на башне городского собора кротко пробивают один раз. Лениво-икотная перезарядка сердца. Время трансформируется в бесконечный, без эха, звук. Время терпит. Время все стерпит. Кроме исчезновения и унижения. Но меня это не касается. Я – выше всего сомнительного и самого низкого. *Я – вне времени.* В тисках витками сближающихся полюсов. Я слушаю Корелли. Чужие исторические деятели тоже слушают Корелли. Слушают магнитно-внимательно. Тоже вне времени. Каждый вдумчиво. Дыша-недыша. Сдвигая-раздвигая брови. Приоткрывая-

закрывая рот. Им всем знакома нотная грамота. Они все знакомы с Арканджело Корелли. Мы все слушаем эпоху Возрождения. Concerto grosso. Мы все из эпох следующих – Перерождения. Concerto mortale. Воспоминания приносят боль всегда, даже вырвавшиеся из пределов прошлых радостей. Даже вперемешку с радостями будущими. Воспоминания – собственность. Воспоминания – частная собственность, не передающаяся по наследству. Может, если только незаметно, на геномном уровне. Именно потому вместе с радостью иногда вырываются и беспредель боли. Боль х радость = бесконечность. *В с е л е н н а я*. Бесконечен Корелли. Не бесконечно мнение о нем. Математически точно отрубленный от прямой отрезок. Надежда на надежду. Ожидание ожидания. Опровержение опровержения. Я изошренно закусываю подтянутую нижнюю губу и мелкими глотками поглощаю слюну. Я – миг в любом из взятых отрезков. Между сном и голодом. Между сном и отвращением. Голод опять протискивается на передний план. Никак от него не оторваться. Лучше заставить себя забыть. Лучше заставить себя уснуть. И я засыпаю. Постепенно теряя тело, вглядываюсь в ночь. Месяц светит блестящей, под золото, заколкой в женской прическе. Впереди – весеннее утро. Я засыпаю под Корелли.

Тебе всегда принадлежал лишь кубический сантиметр над кроватью. И до сих пор ты в нем обитаешь.

Прими мой грех, безгрешный.

Я роюсь в разбросанной куче «сюрпризов» у мусорного ящика. Во сне. Мусорный ящик переполнен. Новые ведра все прибавляются и вываливаются рядом. Вчера, наверное, был серьезный праздник. Есть чем полакомиться. И поразвлекся. Вдоволь. Я затаскиваю к себе несколько аппетитных, еще не остывших, костей. Прикрываю добычу телом. Пританцовывая. Сохраняя тепло. Оперативно прячу в карманах пиджака. Впрок. Надо еще пару прихватить. Пока не пошел дождь. Выбирать сегодня действительно есть из чего. Попадают даже крупные, с хрящами и остатками мяса. Ведь после серьезных праздников всегда наступают голодные дни. Тогда ящики не заполняются и наполовину. Из них ничего не достать. Злость расходует впустую. Отчаяние не помогает. Впрочем, и голод тоже. Приходится заглядывать в соседние дворы. А это небезопасно. У каждого – свой двор. У каждого двора – свои кости. *У каждой кости – свой голодный*. Жадность и нетерпение в ожидании очередного «деликатесного» ведра. Я профессионально подползаю к цели. Брезгливо, но уверенно перебираю. И не только носом. Я колеблюсь в своем выборе. О, если бы у людей всегда были праздники!

Я роюсь в разбросанной куче.
Но уже наяву.
За несколько минут до дождя.
Он появляется со стороны улицы.
С цветком в руке.
Я роюсь.
Он наблюдает за мной.
Я не наблюдаю за собой.
Он приближается.
Я – сама беспечность.
Он останавливается за моей спиной.
Я роюсь в разбросанной куче и, от этого главного занятия жизни меня не оторвать.
Он – рядом.
Я поднимаю голову, поворачиваюсь.
Он – статуя.
Я – с костью в зубах.
Он впервые видит меня?
Я впервые вижу его.
Он – в очках.
Я не могу отвернуться.
Он смотрит мне в глаза.
Начинается дождь. Мелкие острые капли густого артиллерийского ливня вмиг покрывают пупырышками асфальт. Кажется, весь двор знобит, лихорадит. Мы – посреди двора. Мы – посреди дождя. Мы – посреди друг друга. Мое лицо заливают прозрачная маска, смывая последнее сопротивление страху.
Меня тоже лихорадит.
Меня тоже знобит.
Он снимает очки.
Протирать их бесполезно.
Кладет в карман.
Моя кость падает на землю.
Я – с открытым ртом.
Он наклоняется, чтобы ее поднять.
Я тоже наклоняюсь.
Пренебрежение словом.
В обстреле дождя.

Искренне не унижая ложь.

Слеза, не ставшая строкою, И стих, разорванный навзрыд.

– ...

– К чему все эти мысли?

- Я хочу выбиться в люди.
- В люди!?
- Да.
- Разве собаке это дано?!
- Я хочу сделать невозможное.
- А людям это нужно?
- Это мне нужно.
- Для них ты все равно останешься собакой.
- Я хочу жить среди людей.
- Ты же всегда жил у них...
- Я хочу жить как они...
- И иметь свою собаку...
- Люди понимают меня лучше...
- Ты ведь им предан...
- Когда-нибудь они это оценят.
- И оплатят...
- ...
- ...
- Я тебя понимаю, но все это ниже долга.
- А что выше?
- Только людское достоинство.
- Достоинство и лжи доступно.
- Меня не в чем упрекнуть.
- Ты – всегда прав...
- Я верен своей цели любой ценой.
- Понимаю...
- Я пришел не за тем... хочу с тобой проститься... я уезжаю.
- Куда?
- Моего хозяина переводят в другой город. В этой квартире будут жить другие люди. Они уже приходили ее смотреть.
- Все понимаю...
- Да...
- Год назад общаться нам было легче.
- Мы почти никогда серьезно не говорили... В этом не было необходимости... Не стоит сейчас ломать эту привычку... Поздно...
- ...
- ...
- Наверное... С Богом.

Не чувствуя голода по воспоминаниям, я знаю, что от будущего зависит мое прошлое.

– Здр-р-равствуй... это... это... это – я... спасибо... спасибо, что узнаешь... я-я приехал... я зашел всего на несколько минут... я тороплюсь... нет-нет, приехал не сейчас... уже около месяца назад...

шестого числа... постоянно какие-то заботы... извини, что рано... и сегодня – без цветка... у меня совсем мало времени... я-я по делу... по серьезному делу... всего на несколько минут... нет-нет... у меня ничего не случилось... у меня все в порядке... да, вернуться пришлось, да... нет, я не знаю, почему мы так быстро приехали... если честно – мне не хотелось оттуда уезжать... даже стал привыкать к новому окружению... новые впечатления... новые мечты... но, увы, не моя воля... да и вернулись мы в другую квартиру, соседнюю... так что не все радостно... я теперь принадлежу только людям... а они очень строгие... они живут по указам... и я живу с ними по указам... дисциплина... другого выбора нет... у тебя, я вижу, все по-старому... на стенах те же фотографии... те же темные шторы... тот же бордовый пиджак... запах свечей... я не вздыхаю... я верю, что у тебя все хорошо... и искренне рад... слава Богу... главное, что ты так считаешь... да, у меня действительно дела в порядке... мне казалось, что тебя здесь уже не найду... не знаю почему... просто... меняются привычки... может быть, место получше нашлось... мне казалось, что ты тоже когда-нибудь будешь кому-то принадлежать... всякое бывает... мне немного трудно говорить... мы так давно не виделись... тогда, в последний раз, мы не поняли друг друга... извини, сейчас все так неожиданно... нет-нет, присаживаться не буду... я всего на несколько минут... я, наверное, тебя разбудил... спасибо-спасибо... я завтракал... и пил кофе... не беспокойся... а ты совсем не меняешься... тот же тон... движения... жесты... и мое появление тебя совершенно не удивляет... да-да, как когда-то... я думал зайти раньше, но все время дела, дела... у меня появились и необычные обязанности... да, есть даже первые успехи... да, все мною довольны... но завтра начинается новая неделя... понедельник для людей – тяжелый день... хлопотный... извини, я закрою дверь плотнее... прохладно... я не волнуюсь... погода... да, чтобы никто нас не слышал, да... время сейчас сложное... тебе это известно... и включи тихо музыку... нет-нет, мешать не будет... спокойствие в данном случае важнее... нет, я не пугаю, нет... да... да, я все скажу... только соберусь с мыслями... подожди... я не знаю, с чего начать... пару секунд... минуту... меня нужно понять очень правильно... от меня, к сожалению, зависит очень мало... но... я-я надеялся... я очень надеялся тебя не застать... я думал, все как-то само собой сложится... но... здесь тебе находиться больше нельзя... нужно немедленно уходить... сегодня же... куда угодно... и без «почему»... без никаких вопросов... завтра начинается облава на всех бездомных... я видел сегодня ночью списки адресов... там был и твой... этим занимаются люди моего хозяина... снисхождения не будет никому... и тебе тоже... это для тебя – дом... но это – не дом... нет, это не дом... дом есть только у тех, кто живет с людьми... в доме... твоя независимость никого не интересует... независимый и бездомный, по сути, одно и то же... я бы не пришел, если бы все не так срочно... рассуждения не имеют смысла... философия ни к чему... она уже давно мертва... нужно бороться за

выживание... нужно спастись... тебе нужно просто смириться... понимаю... тяжело терять старое место... у тебя здесь столько воспоминаний... вся жизнь... но другого выхода нет... начался отсчет последних суток... собрать вещи недолго... я прошу тебя... слава Богу, закончилась зима... в городе еще есть где пристроиться... там много пустых домов... заброшенных... туда люди не скоро доберутся... оставаться тут – безрассудство... это – глупость... нелепость... самоубийство... ради чего?.. ради кого?.. ожидание смерти?.. я не для того пришел... я должен был предупредить... я это сделал... и хочу помочь... искренне... я могу вечером проводить тебя... когда стемнеет... но здесь оставаться нельзя... слышишь?.. «нет!» – это самое бессмысленное, что ты можешь сейчас сказать... «нет» чему?.. жизни?.. «нет» – это то, чего я никогда не смогу понять... оставь тщеславие... упрямство... что ты здесь теряешь??? голые стены?.. где-нибудь подыщешь не хуже... я прошу... не прогоняй меня... сейчас – твой последний шанс... у меня еще есть время... я подожду... но надежда – не бесконечна... они придут завтра утром... не прогоняй меня... я прошу... никто другой тебе не поможет... никто!!! хорошо... я замолчу... да, сейчас я уйду... я сделал все, что было в моих силах... я боролся с собой... но не смог бороться с тобой... хорошо, ухожу... жаль мне... очень жаль... увы, прошлое не всегда может помочь настоящему...

003724700125140153

Пустота внутри пустоты: по всем направлениям досрочно открыта граница.

Грубый стук весны в дверь. Продолжительный, назойливый, неотвратимый. Откровенный напор ветра и людских кулаков. Дерзкий стук по дереву в нагнетающемся ритме. Я чувствую, как мои растительные и животные истоки становятся выжженной глиной. Эмфизема мозга. Куда себя спрятать?.. Как лишить себя слуха?.. Как лишить себя тела?.. Прежде чем лишат тебя всего и сразу... *Поздно?* Ток вопросительного смирения протекает между миром бывшего движения и миром будущего покоя. Нарушение связи между временем и длительностью. А что там, за горизонтом? *Перевоспитание ч у в с т в.* Констанция – *с т р а х.* Но нет, я дверь не открою. Пусть открывают сами. *С т р а х.* Дверь открывается. Дверь открыта. Но никто не входит. *С т р а х.* Все с нетерпением ждут моего выхода. Я жду своего выхода. Ожидание как горло, затянутое петлей. Надежда не предполагает даже преступления. Путь – только вперед. Я отрываю свое тело от пола. Пол отрывается от меня навсегда. Я покидаю свой дом. Дом покидает меня навсегда. Я выползаю на улицу. Весна принимает меня навсегда. *Весна моей смерти.* Они здесь. Они

стоят. Пришедшие на рассвете. А, может, они стояли здесь всегда? Точь-в-точь как близнецы, запакованные в черную кожу. В одинаковой стойке. С одинаково выбритыми до костей скулами. С одинаково матовыми глазами. И наверняка с горячими от хладнокровия руками. *В с е. Они. Т р о е.* А вот и он. Рядом. Каков по счету, первый или четвертый? Коричневые стекла очков отсвечивают смертью. Я прилипаю грудью к асфальту. Согреваю его кровью. *П е р е т я г и в а н и е м е н я к а н а т о м.* Каждый сантиметр дается с трудом. *П у т ь т о л ь к о в п е р е д.* Между нами – один метр *ж и з н и.* На меня набрасывают паутину. Во мне умирает *с л о в о.* Я в последний раз смотрю на *н е г о.* Он осторожно протирает лицо. Носовым платком. Видит ли он меня? Мне мерещится слезный блеск? Нет. Это в его очках отражается только что родившееся утро. Я корректирую свой прощальный взгляд. Навстречу весне.

Собачий характер свойствен только людям, но иногда и собакам.

Обнаружив в кармане своих пижамных штанов чью-то руку, я от неожиданности включил свет. Сон оборвался.

... я от неожиданности включил свет. Сон оборвался. Я встал. Море за окном флиртвало с ранним прохладным утром. Боязливый плеск настойчиво напоминал об изменчивости мира. Я улыбнулся. Немного постояв, вернулся к кровати. «Подвинься», – сказал я и небрежно окунулся в сладкую полудрему. «До чего же мило провести пару теплых майских дней в беззаботном Кюльонгсборне», – подумалось мне.

1991